

Владимир ВЛАДЫКИН

В КАЖДОМ ДОМЕ

ВОИНА



Владимир Владыкин

В каждом доме война

«Издательские решения»

Владыкин В. А.

В каждом доме война / В. А. Владыкин — «Издательские решения»,

Остросюжетный роман В. А. Владыкина «В каждом доме война» охватывает события от начала ВОВ и до конца неурожайного 1947 года. Как и предыдущие книги из цикла о селе «Пущенные по миру», «Беглая Русь», он правдиво отражает жизнь народа в годы оккупации и сопротивления. Яркие пейзажи органично вплетены в словесную ткань произведения. Автор коснулся темы участия казачества на стороне немцев. Показана трагедия казачества, которое не приняло советскую власть и боролось с ней на стороне немцев.

© Владыкин В. А.

© Издательские решения

Содержание

Книга первая Разбросанные войной	6
Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	13
Глава 3	18
Глава 4	23
Глава 5	28
Глава 6	34
Глава 7	44
Глава 8	48
Глава 9	52
Глава 10	55
Глава 11	59
Часть вторая	64
Глава 12	64
Глава 13	66
Глава 14	69
Глава 15	71
Глава 16	75
Глава 17	79
Глава 18	83
Глава 19	90
Глава 20	95
Глава 21	99
Глава 22	104
Конец ознакомительного фрагмента.	107

В каждом доме война **Роман в двух книгах. Хроника** **народной жизни (1941—1947)**

Владимир Владыкин

© Владимир Владыкин, 2016

© М. Э. Багдасарян, дизайн обложки, 2016

© Александр Владимирович Коньков, иллюстрации, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Книга первая Разбросанные войной

Часть первая

Глава 1

В год начала войны с германским фашизмом наступило такое жаркое засушливое лето, какого ещё не знали посельчане. Солнце, казалось, начинало палить с самого рассвета; земля накалялась до такой степени, что босым мальчикам горячо было ступать по пыльной дороге.

К началу уборки в посёлке Новый остались одни старухи, старики, женщины, девушки, дети, подростки, парни. Хотя последние ещё не достигли призывного возраста, но и те думали: дескать, если быстро не закончится война, их тоже могут призвать на фронт.

В колхозе им. Кирова полным ходом шла страда. Да вот только жаль, что не всеми силами. Председатель Гаврила Корсаков пытался добиться мужикам и парням отсрочки от призыва хотя бы на месяц, чтобы сжать и обмолотить большую часть, как никогда, обильно уродившегося урожая злаковых. Но районное начальство не хотело его и слушать. В райкоме Мефодий Зуев, ждавший со дня на день мобилизации, ничем не смог помочь земляку, впрочем, он наотрез отказался от ходатайства в райвоенкомате. Это говорило о том, что обстановка на фронте складывалась не в нашу пользу: немец, как говорили бабы, яростно наступал напролом, о чём сообщалось в радиосводках Совинформбюро, которые, из-за отсутствия своего радио, приносили пастухи от жителей соседнего хутора Большой Мишкин, вблизи которого пасли коров. Словом, наши войска отступали, неся большие потери, но Мефодий ничего этого не объяснял Корсакову, пытавшемуся добиться от него толкового ответа об истинном положении на фронте.

– Прошу, не выпытывай у меня ничего; я знаю не больше, чем ты, Гаврила, – отвечал Зуев. – Если ты считаешь, я в райисполкоме, то мне вся информация доступна? Поверь, не всегда радио слушаю, и даже газеты не вовремя ко мне попадают. А своё мнение, извини, не скажу, да и время не для личных выводов, – шепнул он и быстро ушёл, несмотря на грузный вид, важным шагом.

Когда Корсаков приехал из района, в посёлке было так безлюдно и тихо, что казалось, все жители побросали свои хаты и уехали, или спрятались в погребах. Утром многие люди, особенно пожилые, просыпались и крестились, думая, мол, слава богу, что ещё живы, война ещё далеко, но больше всех напастей боялись бомбёжки. У председателя ушёл на фронт сын Николай. Бригадира Гурия Треухова забрали вместе с Фёдором Зябликовым, Семёном Полосухиным, сыновья которого Панкрат и Давыд ушли в числе первых вместе с Гришей Пироговым, Кондратом Кораблёвым, Устином Климовым, Матвеем Чесановым, Фролом Староумовым, Изотом Дмитруковым, Степаном Куравиным, Стефаном Кургановым, Фадеем Ермолаевым и другими.

В день отправки на войну мужиков и парней вышли их провожать все жители от мала до велика. Женщины, старухи, девушки плакали, рыдали; дети и подростки стояли понурые; самые маленькие резво бегали вокруг призывников, словно те уезжали вовсе не на войну, а на праздник. Уполномоченные политруки от военкомата торопили будущих воинов построиться и садиться по машинам. И когда команда была выполнена, вскоре полуторки запылили по просёлку в сторону города. Плач, так напоминавший гудение пчёл, понемногу стихал; бабы, утирая глаза кончиками головных платков, печально качали головами, не веря, что остались с детьми одни, без мужиков. Екатерина Зябликова в тёмной юбке и белой кофточке

с гладко причёсанными тёмно-каштановыми волосами, с первыми сединок на висках, смотрела на старшего сына Дениса и про себя благодарила судьбу, что по годам он ещё не подходил к призыву. А когда ему исполнится восемнадцать лет, война должна закончиться, во что тогда очень хотелось верить, чем и успокаивала себя; то же самое говорила матери и дочь Нина. Почти так же рассуждали и другие бабы, у которых сыновья для войны ещё малолетки. А таких подростков, не подходивших к призыву, было немало. Эти ребята с бабами, девками, подростками и приступили к уборочной страде вместе с мужиками, которые временно оставались в резерве...

Впрочем, через месяц призвали ещё часть из тех, кто были помоложе: Кузьму Ёлкина, Паню Рябинина, Аркадия Тучина, Ефима Борецкого, Александра Чередникова, Бориса Емельянова, Петра Клыкова, Никифора Серкова, работавших трактористами, комбайнёрами и шоферами в машинотракторной станции...

За два летних месяца надежды людей на скорый исход войны, увы, не оправдались. Напротив, сообщения с фронта по оказии приходили донельзя тревожные и с каждым днём всё меньше обнадеживали, что враг скоро будет остановлен и навсегда повергнут. Словом, наши войска продолжали отступать и многие думали, что правительство пока бессильно изменить ситуацию и что в ближайшее время не приходится ждать на фронте желаемого перелома. Но никто не должен был усомниться в том, будто наша армия, которая ещё недавно считалась самой сильной, оказалась вдруг слабее вражеских полчищ. Ведь люди считали, что напад внезапно на нашу страну, немцы застали врасплох многие воинские части и они не успели дать вовремя фашистам достойный отпор, потеряв преимущество в живой силе и технике, что теперь не так-то легко будет восполнить. Но, судя по газетам, для этого делалось всё возможное, и недаром с объявлением войны призыв: «Всё для фронта, всё для победы!» – внушал людям уверенность в неминуемом разгроме врага. Вот колхозники и старались как можно без потерь собрать весь урожай. И молодые ребята, которым не сегодня-завтра идти на фронт, вызывались военкоматом на сборы для проведения военной подготовки. Это были Пётр Кузнецов, Жора Куравин, Назар Костылёв, Денис Зябликов, Дрон Овечкин, Алёша Жернов, Гордей и Никон Путилыны, Миша Старкин, Иван Горшков, Илья Климов. А когда уборочная страда в конце августа подходила к финишу, на военные сборы призывались и девчата. Всего их было направлено под станицу Кривянскую более двадцати человек...

Между прочим, такие сборы в степи проводились каждое воскресенье. Пойменные луга, с северо-восточной стороны, от окраины станицы Кривянской, простирались до самой реки Тузлов, за которой начинались владения Новочеркасска, стоявшего на высоком урочище Бирючий Кут. Другая река Аксай протекала в юго-западной стороне у самого его подножия, и от станицы за камышами была почти не видна. В военных сборах вместе с сельской молодёжью участвовали также городские парни и девушки, которых собирали со всей округи, раскинув для них целый палаточный лагерь...

Несмотря на то, что осень была уже не за горами, дни стояли удивительно жаркие. Солнце нещадно припекало, и казалось, будто дольше обычного нарочно не торопилось садиться. В самые жгучие его часы парней обучали под навесом из брезента разбирать и собирать стрелковое и автоматическое оружие, а также знакомили с миномётами и пулемётами, обучали строевому шагу, умению окапываться сапёрными лопатами в лежащем положении и правильно бросать гранаты, бутылки с зажигательной смесью в наступающего на боевые позиции врага. Девчат натаскивали санитарному делу: обрабатывать раны, накладывать повязки, тянуть телефонную связь, справляться с зажигательными бомбами. Их также обучали ходить строем, копать окопы, строить землянки, блиндажи и знакомили с некоторыми видами стрелкового оружия.

В минуты перекуров ребята старались держаться ближе к девчатам, с которыми занимались молоденькие кадровые политруки, вызывавшие у них порой даже ревность. Неизменным

заводилой был Дрон Овечкин. На Алёшу Жернова, своего поверженного соперника, он взирал свысока, стараясь как бы нарочно его не замечать. С того дня, как Дрон избил Алёшу, прошло несколько месяцев. Он продолжал дружить с Машей Дмитриуковой и уже примирился с тем, что Дрон встречался с Ниной. Хотя первое время он не мог ей так легко простить этого лишь потому, что ещё нынешней весной Нина признавалась ему, что Дрон ей нисколько не нравится. А вышло всё наоборот, она вполне спокойно принимала ухаживания его недруга, и тем самым, наверное, тешила своё самолюбие, чем даже, наверное, втайне гордилась. Она действительно почти не избегала Дрона и Алёша невольно в досаде думал: «Нинка считалась искренней, в суждениях прямолинейной, а на самом деле оказалась такой же обманщицей, как и другие девушки». А когда он вопреки своим чувствам подружился с Машей, Алёша нашёл в ней совершенно неглупую, понимающую его девушку, чем был приятно удивлён; и вскоре все нанесённые ему Ниной обиды на время им забылись.

Ещё весной Гриша Пирогов пытался ухаживать за Машей. Но почему-то не очень настойчиво. Он проводил её домой всего один раз, как потом Маша сама признавалась Алёше, на большее его не хватило, не преминув при этом высмеять и жестоко унижить неуклюжего гармониста, каковым, впрочем, он не являлся. Но по этому поводу она думала просто: раз не хватило смелости, значит, в обращении с девушкой неловкий, будь даже на её месте другая. А перед ней – смелой и бойкой – он совсем растерялся. Хотя она слышали грязные сплетни, которые ходили о Грише и Анфисе, а сейчас будто напрочь о них забыла. Так что Маша, рассказывая Алёше о «лопоухости» гармониста, хохотала в присущей ей манере во всю ивановскую. Причём про себя надеясь, что её безудержный смех долетит и до его ушей. К тому же в тот момент в клубе появилась Анфиса. Но на смех Маши Гриша не обращал никакого внимания: играл себе да играл на гармошке, стараясь веселить молодёжь. Алёша не догадывался, что Маша потому и высмеивала гармониста за глаза, что он нравился ей больше всех поселковских парней. А поскольку, в её понимании, он лопух, она довольствовалась дружбой с Алёшей, который опять-таки от этой мысли был весьма далёк, но если бы и понимал, то вряд ли его это серьёзно огорчило, так как весёлый нрав Маши был вполне созвучен его душе, и он сам не упускал случая подтрунивать над кем-либо, правда не так ядовито, как это делала она. С этой ядрёной прелестницей не нужно было заботиться о выборе выражений, как требовала от него приличия в отношениях с ним Нина. Теперь Алёша прочно уверовал, что Маша и он созданы друг для друга, но об этом раньше даже не подозревал. А всё оттого, что ещё недавно был ослеплён красотой Нины, в чём теперь стеснялся признаться даже себе, так как от одной этой мысли он вдруг краснел, что порой случалось и в присутствии новой зазнобы...

– Ах, Маша, я теперь на все сто уверен, что мы с тобой – как одно целое! – шутливо воскликнул он, обнимая девушку, которая в тот момент смотрела на Анфису, окружённую Ниной и Стешей.

– Ой, Лёша, да что ж ты такое стыдное кажешь! – нарочито, смеясь, ответила она. – Так мы ж ещё не знаем, что такое целое... Ой, ой, и что ж ты так краснеешь, сокол мой? – она чмокнула его в щеку, при этом краем глаза увидела, как на неё посмотрели девушки и парни...

– Да я совсем не в том значении, я... – в растерянности он запнулся.

– Ну, если даже и в том, так нам ещё до этого далеко..., – и в этот момент она увидела, как Анфиса отделилась от девушек и пошла. А Гриша Пирогов, всучив гармошку Дрону Овечкину, спешно увязался за ней и все увидели эту потешную сцену. А вместо Гриши стал рьяно наигрывать Дрон. И вдруг Маша вслух опять принялась нарочито злобно подтрунивать над Гришей.

– Ты подумай, соседку свою стал обхаживать, а другую не сумел!..

Алёша сначала не понял, почему она так насмешливо заговорила о гармонисте. Он отстранился от девушки, обернулся и увидел, как из клуба уходила парочка.

– А чего ты в этом увидела смешного? И какую «другую не сумел»? – бросил он.

Но Маша не ответила, а лишь быстро-быстро почему-то отмахивалась от парня руками. Ему стало не по себе, впрочем, вовсе не от этого, а от того, почему она так пристрасно высмеивала Гришу? Правда, недолго, но не успела успокоиться, как через минуту снова заржала, как ненормальная, диким хохотом, чем вызвала у Алёши недоумение. Он даже подумал: «Неужто она ржёт только оттого, что я не понял причину её смеха?» Но в следующую минуту он тоже невольно развеселился. Хотя ещё и оттого, что Маша почти всем лицом стала припадать к его груди, давясь смехом. Конечно, Алёша ни за что бы не догадался, что своим хохотом сквозь слёзы она скрывала ревность к Анфисе и утаивала от себя сокровенные чувства, которые испытывала к Грише. И, боясь себя выдать, она и прикрывалась таким дурашливым смехом, от которого у девушки даже на глаза навернулись слёзы. Но в ту минуту, когда она ядовито подтрунивала над Гришей, Алёше показалось, что вот так же она при случае высмеяла бы и его, несмотря на то, что в этом он был и сам не промах.

Что там было на самом деле между Анфисой и Гришей Алёша мог только знать по тем слухам, которые одно время ходили вокруг этой парочки. Но в те слухи он не очень верил, поэтому ему думалось, будто Маша знала нечто больше, чем он. Да и как Анфиса, будучи серьёзной девушкой, могла позволить себе то, что тогда до свадьбы редко случалось между парнем и девушкой...

И теперь, на военных сборах, Алёша издали смотрел на Машу, чей звонкий голос чаще других слышался в толпе девушек. Что её там безудержно опять смешило, разумеется, он не знал, а когда она пошла к реке вместе с Анфисой, Алёше вновь стало безотчётно досадно оттого, что Маша сблизилась с девушкой Гриши. Впрочем, в этом он не видел ничего плохого, к тому же Анфиса выглядела взрослее всех девчат; кто-то даже говорил, будто бы она благородных кровей, в чём Алёша сомневался. Хотя изо всех девушек она и впрямь выделялась каким-то явным родовитым происхождением. Собственно, при всей её внешней простоте и общительном характере, в девушке действительно угадывалось нечто благородное, что она не такая уж для всякого человека доступная...

От Дрона не отставали Жора и Пётр, но к ним клеился ещё и Назар, над которым они без конца подтрунивали, невзирая на то, что отец его был некогда председателем. У Назара к тому же нос был повёрнут слегка набок, и от этого невольно вызывал смех, будто он всегда норовил совать его туда, куда не полагалось, хотя он вёл себя вполне сдержанно, но в его взгляде почему-то частенько сквозило такое странное любопытство.

– Как бы твоя Мотыка к городским не убежала, – весело возвещал Дрон. – А что, слышали: Зинка Полосухина, говорят, в городе осела. Вот стервоза, пока Давыд её воюет, она уже небось кем-то там обзавелась.

– Без меня Мотя шагу не ступит! – проговорил самоуверенно, не без хвастливости, Назар, выставив как-то недобро бельмастый глаз на Дрона, который нагло скалился и озорно оглядывался на своих дружков.

– Да все они такие, дай им волю – убегут туда, где лучше, – заржал Жора Куравин. Выпуклые его глаза, казалось, выскакивали из орбит. Ему вторил с красным от жары лицом Пётр Кузнецкин:

– Во, видали: Анфиса уже Машку повела к реке. Выбирают место для переплыва на городскую территорию. Их манит городской запах, как лисицу вороний сыр, ха-ха! – воскликнул Пётр, и тут же заговорил вновь: – Нашего друга Гришу, говорят, Анфиска прикаблучила, да вот беда: война помешала закрепить успех. А теперь с Машкой за речку наострилась. Зинкин побег небось их с ума сводит!

– Им это, пожалуй, ничего не стоит! – сказал Дрон, глядя на Гордея иронично, подмигивая ему двусмысленно. Но тому, разумеется, не понравился гадкий намёк в адрес сестры.

– Дрон, чего за моей сестрой присматриваешь, а своих шустрых сестриц и не замечаешь? А ведь они пошибче моей сестры, – многозначительно заметил Гордей, прищуривая узковатые серые глаза.

– Ха-ха! Может, я хочу, чтобы ты за ними присмотрел! – заржал Дрон, сияя голубыми глазами. – Туда-сюда и породнимся! – он повернулся к друзьям: – Видали начальника хвоста и копыта! А гонору – на козе не подъедешь! – в гнев бросил Дрон, а Жора и Пётр засмеялись ему в поддержку, глядя на сестёр Дрона.

– Пусть они тебя роднят с твоими друзьями, а я как-нибудь сам обойдусь! – не без гордости ответил Гордей и недовольно прибавил: – И что ты со всеми задираешься?

– Ты смотри, какой делец, или из себя барина корчишь? Да с тобой пошутить нельзя, катился бы ты бубликом отсель подальше! – взбеленился Дрон.

– Лучше шути над собой и Нинкой. А меня и сестру не задевай, – буркнул Гордей.

– Что-то ты не туда гонишь, парень. Твою Ксюху я не трогал, – вскочил на ноги Дрон и метнулся к Гордею. Но Жора остановил прыткого друга и указал на инструктора, который смотрел в их сторону. Он сидел со своим напарником, недавно проводившим занятия с девушками.

Алёшу Дрон не затрагивал, но иногда не мог пройти мимо, чтобы что-то не буркнуть в его адрес. На сборах Алёша показывал себя дисциплинированным, как положено исполнял все команды военного инструктора, держась почти рядом с молодым безусым политруком, который ему казался, однако, вполне зрелым человеком. Иногда он у того расспрашивал о военном деле, чем вызывал у Дрона раздражение:

– Вояка мне нашёлся! Небось, от первого выстрела в кусты нырнёт!

* * *

Пока отдыхали, девушки отправились в станицу напиться воды. Они зашли в ухоженный чистый двор с высоким куренем. На стук их вышла полнотелая немолодая хозяйка с хмурым, неприветливым взглядом. Увидев девчат, она бросила грубо:

– Чего стучите, антихристики?

– Тётя, нам бы воды напиться... – сказала Арина Овечкина. С ней были ещё несколько девчат и среди них Нина Зябликова.

– Нет для вас воды! Ступайте куда хотите! – отрезала женщина, решительно отворачиваясь от них.

– Почему вы так с нами разговариваете? – возмутилась Ксения Глаукина, самая рослая из девушек.

– Не твоё собачье дело, а ну ступайте от двора, нечестивки!

– Мы не собаки и непрокажённые! – с нотой вызова, не без обиды, тягуче прокричала Арина Овечкина.

Девушки настолько были поражены таким враждебным, холодным приёмом, что им ничего не оставалось, как пойти в следующий двор, где их так же встретили неприветливо. Они попробовали попытать счастья ещё в одном дворе, но и там им не повезло, наткнувшись на категоричный отказ. Стало определённо ясно, что жители казачьей станицы почему-то по отношению к ним были настроены крайне враждебно. И они ни с чем ушли, облизывая пересохшие от жажды губы, живо обсуждая по дороге в военный лагерь произошедшее недоумение.

– Девчата, да тут живут одни кулаки! Но как они уцелели? – протянула недоумённо Маша Дмитрукова. – Сейчас скажем нашему инструктору, он их быстро приструнит!

– Казачки все жадные и нелюдимые! – заметила Глаша Пирогова.

– И даже не бояться советской власти! – удивлённо протянула Нина Зябликова. – А может, у них её нет? Я слыхала, что эту станицу поджигал Семён Будённый в гражданскую войну...

– А чего же он всю её не спалил? – спросила резко Маша, опалая яростным взглядом Нину, которая своей красотой раздражала её с тех пор, как стала встречаться с Алёшей Жерновым. Казалось, она была готова обвинить её в том, будто только Нина и виновата, что станица уцелела после набегов Будённого.

– Интересно, и откуда ты это знаешь, Нинка? – спросила изумлённо и не без зависти Арина Овечкина, которая не далее, как вчера как-то ехидно бросила ей: «Ты думаешь, Дрон на тебе помешался? Как бы не так, ты ему всё равно не пара!» В тот раз преднамеренный укол сестры своего воздыхателя Нина, конечно, молча проглотила. Хотя надо было бы ответить не менее жёстко, мол, она не гоняется за её братцем, так как сама уверена, что она и он во всём разные. Но тот, зная это, всё равно нагло пристаёт к ней и не даёт прохода. И сейчас она ответила его сестре:

– Я это слышала на уроке истории, – но у Нины это получилось несколько удивлённо, даже с ноткой обиды, а всё оттого, что Арина почему-то испытывает к ней жгучую неприязнь, будто она отбила у неё любимого парня.

– Тю, так она ещё себя учёной изображает?! – воскликнула Маша, злорадно смеясь.

– Девки, чего вы пристаёте к Нине? – спросила Ксения. – Вот тоже нашли время для пустой ссоры.

Когда они подошли к инструкторам, Маша и Ольга наперебой затараторили, что им в станице не дали напиться воды. Их возбуждённые голоса привлекли внимание парней. Они встали с измятой травы. Дрон прищурил злостно глаза.

– Чего это наши девки к воякам примазываются, или выясняют, кто им больше из девушек нравится? – прибавил он жёстко. – Смотрим, или потопаем к ним?

– Тебе наши разве не надоели? Лучше давай на городских крадь паяться! – крикнул Жора.

– Да, там есть девахи пышные, – сдержанно поддержал дружка Пётр Кузнецкин.

А в это время один плотного телосложения инструктор, которого окружили девчата, вышел из их круга и повёл молодёжь в сторону станицы. Девчата пошли гурьбой, смеясь и тараторя на ходу о том, как им грубо отвечали казачки.

Трава на лугу давно созрела и местами высохла и теперь с резким присвистом шелестела под их ногами. Жаркий ветерок обдувал лица девчат, шевелил их волосы, а разноцветные платья и юбки плотно облегли крепкие, налитые ноги, обозначая их стройные фигуры. На Нине было простое новое ситцевое платье, сшитое ею самой, которое пришлось в самый раз по её ладной фигуре. Чёрная коса лежала на спине и при каждом шаге покачивалась, как маятник. Нина скорым шагом еле поспевала за инструктором. Ему было лет тридцать, статный, как и полагается, с военной выправкой. Загорелое гладковыбритое лицо, красивый, с благородным выражением, которое придавали ему слегка смуглые широкие скулы и спокойно зачёсанные набок светло-русые волосы. Глаза смотрели внимательно, немного пристально. Его взгляд иногда останавливался на Нине, которая тотчас же стыдливо краснела, опуская долу свои карие глаза. Хотя он точно так же взирал и на остальных девушек, когда объяснял, например, для чего надо копать окопы и блиндажи. И всё-таки Нине казалось, что на неё инструктор смотрел несколько иначе, чем на других, то есть дольше обычного; из его светлых глаз струилось какое-то душевное тепло, словно говорил взглядом: «Какая ты красивая. А вот должна окопы рыть». Девушек для обучения этому искусству и знакомству с оружием и собирали на полигоне, где они уже пробовали копать окопы и как надо укрываться от возможных бомбардировок вражеской авиации, как падать на землю и по звуку уметь различать направление падающих бомб, где и какая разорвётся. Девушек, как и парней, тоже обучали умению ходить строевым шагом,

надевать противогазы, разбирать и собирать стрелковое оружие, знакомили с устройством противотанковых мин, как устанавливать их и бросать гранаты при подходе вражеских танков.

Нина замечала (и девушки тоже между собой говорили), что этот инструктор многим нравился. Маша Дмитрукова норовила у него даже нарочно что-то переспрашивать, но, правда, больше шутливо, чем серьёзно, словно поддразнивала его, чем забавляла себя, производя на всех особое впечатление, доставлявшее, казалось, ей большое удовольствие. Нина догадывалась о её секрете и про себя злилась, что она не должна так бесцеремонно поступать, если уже серьёзно встречается с Алёшей.

– Слышишь, Алёха, твоя Машка куда-то повела офицера! А девки за ним побежали вприпрыжку, как умалишённые! – весело, в оторопи заговорил Миша Старкин.

– Ты, Миха, такой глазастый – узрел? – протянул Дрон. – Пошли, узнаем, куда они краги навострили! – предложил он.

И ребята мигом пошагали. Но не сдвинулись с места только Гордей, Денис, Назар, Пётр и ещё несколько парней.

Городская молодёжь со своими инструкторами занималась отдельно от сельских парней и девчат. Но иногда они сходились вместе покурить, интересуясь друг другом, как это бывает обыкновенно среди молодёжи.

А между тем девушки привели военного как раз к тому дому, хозяйка которого первая отказала вынести им воды. Инструктор решительно постучал в ворота.

– Ну, чего опять ломитесь, нешто непонятно объяснила?! – грубо, недовольно отозвалась со двора женщина. – Шляются тут всякие – покоя не дают!

– Открывай, тётка! – потребовал военный.

– Кто ты такой, чтобы я тебя впускала?

– А вот сейчас узнаешь, как не давать воды людям, которые находятся на государственной службе, – сурово напомнил инструктор.

А девушки тихо, удовлетворённо посмеивались. Женщина молча открыла калитку. В изумлении, со страхом во все глаза глядела на военного, отступив с его дороги.

– А у меня никто не просил ничего! – пролепетала в оторопи она. Её лицо было в мелких морщинах. Хотя хозяйка выглядела ещё нестарой и весьма крепкой на вид.

– Не врите, вы нас прогнали! – воскликнула Маша, и все девушки следом вразной затараторили то же самое.

– Сейчас время военное, а отказ помогать фронту приравнивается к предательству и саботажу! – твёрдо произнёс военный.

– Да откуда же я знала, кто они такие?! – сокрушённо и жалостно оправдывалась хозяйка. – Тут сейчас ходят разные, и все чего-то просят, вот я и подумала...

– А вам жалко дать, если и попросят? Ведь люди-то свои. Не враги. Или фашистов ожидаете?

– Да ну, да ну, избави Господь! Я очень рада вам, проходите, молочка сейчас принесу холодненького из погребца, – льстиво залепетала женщина и живо побежала в курень.

Инструктор осматривал справное, обихожное большое подворье пожилой казачки. За плетёной изгородью был виден длинный огород, упирающийся в чью-то изгородь. «Эти казаки куркули: палил станицу Будённый, так, видно, мало лиха они нюхали», – подумал военный.

– А вы бы, товарищ инструктор, её арестовали, – как бы посоветовала Маша.

– Ничего, она поняла, девчата. Надо воспитывать рабоче-крестьянскую сознательность, воспитывать и пестовать! – наставительно сказал он. И в это время женщина вынесла ведро с водой и банку молока, подав её военному.

– Пейте, пейте на здоровье, а то в курень проходите, там у меня внуки маленькие, мои-то сыновья воюют. А невестки работают в городе. Я с внуками сижу, а деда моего взяли в трудовой тыл, – пояснила быстро она.

На улицу с луга вошли парни и смотрели на казацкие дворы. Увидев своих, ребята бойко пошагали к ним.

– Что здесь за митинг? – ещё на ходу спросил весело Дрон. Маша быстро подошла к нему. Отвела в сторону, став что-то тихо ему объяснять. И его лицо потемнело, напряглось; он смотрел себе под ноги, затем вскинул на девушку в отчаянных глазах.

– Все видели, как ты его повела сюда! – резко сказал Дрон. – Маша, ты не обманешь меня, твоему я ничего не скажу. Да он сам видел и на глазах у нас погрузился, как огурец солёный перед отправкой в рот. Зачем Анфиску водила к городским чувакам? А с военным чего путаешься?

– Бог с тобой, Дрон, я как лучше хотела, какие чуваки, какой военный? Он на Нинку зыряет, положил на неё глаз, а ты, дурачок, не веришь? Ну, как хочешь... – и она, смеясь в кулачок, отошла от Дрона. Её поступок все заметили, а Нина смекнула тотчас, что Маша хочет поссорить с ней Дрона. Но что это ей даст, она не ведала, хотя тут же решила, что так даже будет лучше, и Дрон от неё скорее отстанет.

Девчата, напившись воды, пошли в лагерь. Дрон взял Нину под руку – это увидела Маша и довольная улыбалась тому, что случилось.

– Ты заигрываешь с инструктором? Меня совсем не видишь? – спросил настырно Дрон, скривив брезгливо рот и отставив назад голову.

– Батюшки несусветные, ты слушаешь эту сплетницу? – изумлённо произнесла Нина. – А руку сейчас же выпусти! – и он, как ни странно, отпустил её.

– Да никого я не слушаю, – изломав губу, бросил он.

– Если ты сам так думаешь – пожалуйста – думай сколько влезет! Мне, знаешь, это всё равно, Дрон. Скоро мы уедем рыть окопы, а ты – на фронт. Вот так для нас будет лучше...

– Чему ты так радуешься? Ведь там погибнуть можно в два счёта, – возмущённо сказал он.

– С чего ты взял? Ну да, война не щадит никого, – согласилась девушка. – Пошли, а то перед нашими как-то неудобно... – и Нина, не глядя на него, быстро пошла.

Дрон, удивляясь своей покорности, послушно вразвалочку поплёлся за ней. Он забыл напиться воды, губы пересохли, а вернуться – поленился, и, шагая, сплёвывал в пыль вязкую белую слюну. Но чувство жажды сейчас начало у него вызывать злобу на упрямую девушку, которая никак не хотела подчиниться ему. Дрону так и манилось нагнать девушке. Но какая-то неодолимая сила удерживала его от дерзости; перед ней он делался словно безвольным, и она действительно как бы незримо своими неодолимыми чарами будто связывала его по рукам...

А между тем Нину сейчас занимал не Дрон, а инструктор, которым он больно упрекнул её, Нина хорошо понимала, несмотря на свой зрелый возраст, он очень ей нравился. Таких замечательных парней в посёлке просто нет, от него веяло нравственной чистотой и благородством. Дрон тотчас показался мелким, жалким циником...

Глава 2

Когда началась война, Андрон Рубашкин нежданно-негаданно запросился на фронт, поскольку ему изрядно надоела роль сельского «жандарма». Проверки и перепроверки всех приезжающих в посёлок у него вдруг почему-то стали вызывать чувство омерзения, в чём он, правда, не признавался никому, даже своей жене. Однако какое-то время Андрона не отпускали на фронт. И он продолжал тянуть лямку невольника. Потом из райкома поступило распоряжение: отправить председателя Корсакова на войну, а на его место (если нет подходящей

кандидатуры), заступить ему, Андрону. Но от этого жребия он с радостью отмахнулся, вспомнив, что Макар Костылёв работал в колхозе конюхом, а на войну его почему-то не отправили. И теперь для него он был спасением...

Гаврилу Корсакова проводили на фронт, устроив в его доме гулянье от правления колхоза, куда входил и Макар. Жена председателя Тамара плакала без притворства, что мужа так неожиданно забирают, будто без него не обойдутся на войне, что его там одного только и не хватало. Играть на гармошке позвали Прона Овечкина, несмотря на то, что Захар Пиров в посёлке считался лучшим гармонистом. Но это была воля самого председателя, так как Захара, видного мужика, в своём доме он не мог видеть по той единственной причине, что Тамара, где бы то ни было, поглядывала на него почти в открытую. И охотно становилась к нему поближе спеть частушки, когда вместе гуляли после успешного завершения уборочной страды...

И вот даже жена Захара Павла была несказанно рада, что мужа не позвали на проводы председателя; ведь она знала, как Захар иногда даже во сне называл жену председателя по имени...

На следующий день, когда Корсаков отбывал на фронт, Павла нарочно пошла к клубу, где собрались провожающие; она увидела наряженную в дорогое шёлковое платье Тамару Корсакову, которая слегка вытирала мокрые от слёз глаза, а Павле казалось, что жена председателя только притворялась. Ведь все видели, как два месяца назад, перед посадкой призывников на машину, она рыдала, прижимая к груди своего сына. Но разве люди могли знать, что дома Гаврила приказал ей больше так не реветь и на людях держаться достойно.

– И-и, бабы, какая бесстыжая Тамарка! – протяжно говорила Павла. – Мужика на войну провожает, а слезинки ещё ни одной не уронила.

– А чего ей по нему убиваться? – сказала Анна Чесанова. – Скучать она не будет... не в её это характере. Завтра уже будет песни петь на току...

Павла пришла домой. В это время Захар сгребал на огороде сухую траву. Она подошла к нему.

– Картохину ботву не сгребай, – подсказала она. – А то как будем осенью выкапывать, ты же ничего не оставил?

– Не перечь мне, Пашутка. Погорела ботва, а лунки видны: вот и вот, – показал Захар жилистой, натруженной, в мозолях загорелой рукой. Он был сухопар, высок, жилист. – Я сам буду копать, так что не лезь под руку...

– И чего тебя не берут на войну? – вдруг вырвалось у неё с затаённой ревностью и злостью. Захар удивлённо посмотрел на жену.

– А ты, Паша, что без меня будешь делать? – криво усмехнулся Захар. – И чего ты злишься, никак не пойму? Да, проводила Гаврилу, много людей-то было?

– Проводила, жалко человека. Вот опять Макар безголовый в преды вступил. Ох, пьяница проклятый. Я бы его метлой из колхоза – чвих!

– Чего ты всё злишься, тебе какая разница? – возвысил голос муж. – Тебе хочется, чтобы я погиб на войне? Останешься с Глашкой и матерью, вот будет вам хорошо!

– А ты мечтаешь всю войну за мою юбку держаться или по Тамаре всё сохнешь? Вот уже нос стручком фасоли торчит, и сам в жердь превратился. Да, теперь Гаврилы на неё нет – своя волюшка! – продолжала Павла точить мужу нервы.

– Посмотришь в зеркало, как ты вся почернела от злости. И что ты заладила: Тамара, Тамара! Один раз станцевал, спел частушку, словно переспал с ней. У тебя глупей мыслей нету... – Захар вдруг бросил грабли, быстро сел на сухую траву, закурил папиросу, и нагнул голову, уйдя в свои мысли.

Павла была крупной кости, толстая баба, пухлые щёки гладкие, нос еле виден из-за них, а Тамара хотя и полная, но фигура ещё сохранилась, и во всём она была другая: звонкоголосая, бедовая. Лицо выразительное, красивое, что невольно ею залюбуешься, заглядишься...

А через два дня призвали и последних мужиков: Мартына Кораблёва, Прона Овечкина, Ивана Гревцева, Касьяна Глаукина, Василия Треухова, Прохора Половинкина, Елизара Перцева, Потапа Бедкина, Остапа Шкарина и наконец Захара Пирогова.

– Вот, родная, и дождалась! – сказал жене на прощанье Захар.

Павла тупо взирала на мужа, поджав нижнюю губу, изломав светлые брови в мучительном осмыслении случившегося. Впрочем, она силилась понять, могла ли она говорить такое, в чём сейчас уличил её муж? Павла заморгала часто-часто белесыми ресницами и заплакала горько, неутешно, не глядя на Захара, а он приобнял жену и поглаживал по спине. Она, словно опомнившись, прижалась к нему и вздрагивала всем своим тучным телом. Потом вдруг резко оттолкнула мужа от себя и пошла лицом к нему назад, махая рукой. Павла не видела, как прощались бабы со своими мужьями и сыновьями. К ней подошла сбоку дочь Глаша, обняла мать, плача вместе с ней.

– А ты чего же не попрощалась с отцом, не обняла? – спросила у неё. – Ведь не увидим родимого, не увидим! – и девушка, словно очнувшись от спячки, подбежала к нему и обеими руками споро обхватила за шею, поцеловала, и также быстро отпустила его. Захар, как пришибленный, пошагал к машине. И вскоре она запыхалась в направлении города. Люди стояли и махали руками вслед до последнего, пока они не скрылись из виду. Затем стали постепенно расходиться. Глаша и Павла пошагали от клуба в угрюмом молчании...

* * *

Вместе с другими жителями посёлка Екатерина Зябликова с Ниной тоже проводжали будущих фронтовиков; сейчас они было направились в свою старую хату, но тут же вспомнили, что теперь в ней жила семья Гурия Треухова. А перед самой войной приехал его родной брат Василий, которого только что забрали на войну. И вот Екатерина вздохнула как-то грустно и с дочерью свернула с грунтовой дороги в сторону поляны, и пошла на другую сторону улицы, где в самом её краю вот уже больше двух месяцев жили Зябликовы. За это время Екатерина получила от Фёдора только два письма. Из первого она узнала, что сначала они рыли окопы, затем их ночью посадили в эшелон и повезли на восток. Как позже выяснилось, их привезли в Кузбасс, где разместили в деревянных чёрных бараках. И там, в Сибири, тоже стояла жара, а потом немилосердно зачастили дожди. Впервые в жизни Фёдор спустился в угольную шахту на большую глубину, откуда поднимали вверх вагонетки с углём и породой. Каждый день работали больше десяти часов, не зная выходных. Фёдор из своего посёлка там был один, о судьбе Семёна Полосухина и Гурия Треухова он ничего не знал: их пути разошлись под Миллеровом...

Разумеется, Екатерина была довольна, что судьба отвела мужа от передовой, но даже и то, что он попал на шахту, это её совсем не успокаивало; но оставляло надежду, что там ничего плохого с ним не случится. Конечно, она написала мужу о жизни в посёлке, как уходят на войну время от времени мужики и ребята. И вот, наконец, с уходом последних мужчин посёлок как-то совсем обезлюдел и осиротел, отчего на душе совсем стало безрадостно. Молодёжи осталось немного, – одни девушки да подростки. Наверное, осенью или зимой начнут призывать молодых ребят, которые сейчас на полигоне проходили военную подготовку. А девчат уже два раза возили в Кадамовку на копку окопов, а это где-то в сорока километрах от их посёлка. Значит, скоро война придёт к ним, от сознания чего охватывал неимоверный страх и стыд, что наша армия в ожесточённых боях сдаёт врагу сёла и города и он с каждым днём к ним всё ближе и ближе.

Однако унывать, впадать в оцепенение не давала работа, к которой приступали, как никогда, с первыми петухами. Сначала доили коров, кормили свиней, птиц, затем выходили в поля, на ток, откуда каждый день уходили грузовики, гружённые зерном нового урожая.

Порой душевными вечерами молодёжь устраивала в клубе танцы. Парни и девушки, казалось, не боялись неумолимого приближения фронта. Но это было далеко не так: танцы отвлекали не только от страшных дум, ведь их молодые души требовали веселья, любовных отношений и они как никогда стремились быть ближе друг к другу; но после танцев, как прежде до рассвета уже почти никто не гулял. Даже домоседки сёстры Настя и Наташа Жерновы, хотя и не всегда, стали похаживать в клуб, впрочем, с того дня как получили от отца письмо, в котором он сообщал, что добился отправки на фронт и скоро уедет на запад бить фашистов...

Марфа не знала: радоваться ей этому или огорчаться? С одной стороны она думала, что Павла оправдали, он не виновен, а с другой – на фронте его подстерегала почти верная гибель. Хотя и отбывать лагерно-тюремное наказание тоже было чревато многими лишениями. А главное, с него автоматически снимался ярлык «врага народа», и отныне она приобретала звание жены фронтовика, что ставило её в один ряд с другими женщинами, проводившими своих мужей на фронт. Марфа незамедлительно постаралась поделиться своей радостью с соседями Зуевыми, чтобы потом узнал весь посёлок о хорошей перемене в её жизни. Алёша в свою очередь похвастался об отце приятной новостью с Машей Дмитруковой, мать которой Прасковья слыла в посёлке первой болтуньей. И вскоре уже знали все, что Павел Жернов попал на передовую. Эту новость бабы потом обсудили на наряде, видели, как Марфа теперь приосанилась, возгордилась снова, как раньше, когда муж стал председателем, и от радости не чувствовала под собой земли.

Но вскоре о ней и муже забыли, поскольку другое событие оттеснило Марфу и её семью, сделавшись предметом долгих пересудов, когда Зина Полосухина вдруг пошла в сельсовет с твёрдым желанием трудиться в городе на любой стройке. И от комсомола её направили якобы неведомо куда. Одни говорили, что Зина учится на курсах медсестёр, и будет работать в госпитале, другие судачили – собралась на фронт, мол, сына скинула на руки матери Ульяне, и когда Прохор ушёл на войну, та осталась с младшей дочерью Майей. Третьи говорили, что Зина просто нагло сбежала в город. А работает в ресторане официанткой, что с Давыдом она развелась ещё до войны. Да и самые дотошные бабы Домна Ермилова, Зина Рябинкина маленькая, коренастая, толстозадая, не в меру пытливая, каждая по-своему без сговора уверяли совсем другое, будто они вместе с Давыдом и Зиной ехали на базар в город на одной подводе и слышали сами, как молодые супруги бранились. Зина якобы говорила о своей встрече с Клавой Пининой, жившей давно в городе, которая пригласила их в гости. А Давыд считал, что нечего им делать у ветреной городской барышни, лучше день потратить на огороде, чем раскатываться по гостям. И вот тогда Зина будто бы крикнула, что ей надоела такая беспросветная колхозная жизнь, что ей хочется отдыхать, как всем нормальным людям. С Давыдом ей надоело жить. И когда он ушёл на войну, она поехала в сельсовет и развелась с мужем, и после этого осталась в городе.

– А чего же Рубашкин так легко отпустил её, он же не такой – наш Андрон? – спрашивала Антонина Кораблёва. – В это как-то трудно поверить, – усомнилась она.

– Ой, чего ж тут труднова, бабы, – протянула Зина Рябинкина, – Зинка сваво шанса ни за что не упустит. Разве Андрон не мужик, хочь и стар для неё, – и засмеялась рассыпчатым смехом, хватаясь шепотью за свои губы, вертя головой, глядя быстро по сторонам.

– А верно, я помню, как она ещё девкой заигрывала на ферме с Афанасом Натахиным, – подхватила Домна. – Вот в те разы Алинку мою все чихвостили: такой срамнойставляли, а других девок вроде как и не видели.

– Ну разве Афанас такой писанный красавец? – отозвалась Антонина. – Зинка над ним просто смеялась, а вы думали – всерьёз? Дуры, вы, бабы, дуры...

– Теперь она в городе начнёт блудить. А там без этого не обойдётся, – предположила Прасковья Дмитрукова. – и как тильки Ульяна терпит её выходки?

– Дак она, говорят, сама и отпустила дочь, – зашептала Зина Рябинкина. – Мне Ульянка, бабы, сама жаловалась, что зря Капу в своё время в город не отпустила. Потом так жалела, так жалела, а то бы жива была. – Неподражаемо качала она головой, желая передать в полной мере горе Ульяны Половинкиной.

– И правильно она думает! – согласилась Домна. – Девкам надобно увсем в городе находит свою долюшку. А не гнуть спину в чёртовом колхозе. И Зина правильно поступила: была бы я моложе, ушла бы отседова к лешему! – жёстко произнесла она, поведя остроглазо по лицам баб.

– Услыхал бы тебя сейчас Андрон, и полетела бы сизой птицей у Сибирь, ха-ха! – засмеялась Зина Рябинкина.

– И там неплохо: тайга! Нашла чем пугать меня, анчутка! – грубо бросила Домна, которая, ослабившись связью с Фадеем Ермолаевым, ничуть от этого не унывала. Наоборот – сожалела, что война под метлу смела всех мужиков. Говорили, будто она вечерами приходила сама к Макару Костылёву в колхозную контору. Макару теперь доставалось от людей, не прощавших ему дочь Шуру, ставшую у него бригадиром, тогда как Алёша на её месте – счетоводом. Хотя бухгалтерию колхоза сразу в двух бригадах по-прежнему вела Шура...

Возле Макара также отиралась и Марфа, отныне довольная тем, что сын Алёша наконец-то занял своё место. И она стремилась к тому, чтобы Макар Пантелеевич и её поставил обязательно кладовщицей после того, как забрали на войну здорового последнего мужика Тихона Кузнецина. Но Макар не мог так поступить. Он долго думал: какой бабе доверить должность кладовщика: Екатерине или Авдотье? Обе женщины ему давно нравились. Но что тогда на это скажут люди, да и перед своей женой, Феней, было совестно, не хотел у неё пробуждать ревность. Собственно, назначение любой бабы кладовщицей вызывало бы у жены недоброе чувство. И тогда Макар остановился на отце Марфы Осташкине Никите Андреевиче, чем его дочь осталась весьма довольной. Но и этот поступок Макара был дружно осуждён людьми, на что он, правда, старался не обращать внимания, не то нынче наступило время, чтобы надо было непременно кому-то угодить. Хотя все видели, что Осташкин, несмотря на престарелый возраст, производил положительное впечатление ещё вполне крепкого старика. Ему было шестьдесят пять лет, серьёзный, рассудительный и честный. И вскоре все успокоились...

После того, как Макар подал в отставку, он пережил немало неприятных минут; тогда это был наиболее приемлемый для него выход. И Макар испытал истинное облегчение, когда снял с себя непосильную ответственность, а тут ещё надломила его смерть отца, который не пережил отставку сына. Но знал бы он, что не пройдёт и двух месяцев, как снова его, Макара, опыт руководителя востребуется. А ведь вполне мог отказаться, однако в трудную годину особо не стал чиниться. Теперь в нём было меньше страха, на людей больше не оглядывался, отныне ему терять было нечего. Вот и поступил в перестановке кадров по личному разумению. Уже в августе колхоз получил распоряжение – изводить понемногу скот, птицу, так как положение на фронте день ото дня осложнялось, а враг неудержимо приближался, заняв уже большую часть Украины и Белоруссии, вступая и на российскую землю. Упорные, кровопролитные бои шли на всём протяжении фронта с юга на север. Из радиосводок было известно, что фашисты на всех парах рвались к Москве, встречая при этом яростное сопротивление наших войск. И всё равно приходилось отступать, так как силы были пока неравные.

Помимо уборки урожая Макара Костылёва волновало неудержимое наступление немцев, которые в любой день могли прийти к ним. Он безмерно сожалел, что его не брали на фронт. А сам напроситься не хотел, так как на него была наложена бронь. Но он боялся работать, когда придут немцы, колхоз не будут эвакуировать и посёлок останется в руках врага. Вывоз скота, свиней, телят, овец производился только в ночное время, а фронт неотвратимо приближался...

Глава 3

Зина, жена Давыда Полосухина, после родов ещё больше похорошела: грудь увеличилась, ведь она вскармливала ребёнка до тех пор, пока он не стал ходить. Фигура её несколько округлилась, вся пополнела. Тяга к городской жизни у неё поселилась ещё с девичества. Когда бывала в городе то ли сама или с ныне покойной сестрой Капой и с матерью, то ли когда ездили на базар, и она неизменно присматривалась к наряженным, покрашенным, нарумяненным городским модницам. И всякий раз грустно вздыхала оттого, что после городских впечатлений ей не хотелось возвращаться в степь, где её вновь ожидала беспросветная глухомань, которая на неё действовала угнетающе. В город тогда в основном ходили пешком: когда же отправлялись гуртом продавать на базар продуктовые излишки, брали в колхозе подводу. В те времена, если не было особой причины для переезда, осесть в городе любому селянину было крайне трудно. Лет десять назад, когда строился паровозостроительный завод и другие производственные объекты, некоторые сельские парни и девушки подавались на стройки социализма строго по комсомольскому набору. Но в те годы Зина ещё только училась в школе, а потом, чтобы удержать в посёлке людей, власти уже никого не отпускали. Зина это знала, но всё равно не переставала грезить о городе, даже выйдя замуж. Особенно сильно она мечтала о городе, когда поняла, что Давыда она почти не любила, а выходила за него исключительно по уговору матери. Впрочем, сначала Давыд ей нравился весёлым, насмешливым характером, слывя работящим, хозяйственным, чего у него действительно было не отнять. А когда стала его женой, Зина увидела, что Давыд любит её командовать: норовит поучать как надо полоть картошку, как убирать в доме, ухаживать за коровой, будто до него всего этого она делать ничего не умела. Из-за этого, собственно, между ними начались ссоры, поскольку Зина обнаружила в себе крайне самолюбивый нрав. И Давыд, видя, что к жене чересчур требователен, что к добру это не приведёт, стал менее властен. К тому же Зина порой, чтобы подействовать на мужа, запальчиво бросала, что уедет жить в город. Давыд же, не желая быть уязвлённым, над ней ехидно посмеивался:

– Да тебя там никто не ждёт, да ещё с ребёнком, – говорил он. – Была бы моя воля (жаль, что теперь этого делать нельзя), я бы тебя ремешком отхлестал, чтобы знала, как мужу перечить. Городская выискалась, с вшивой задницей...

– А мне не надо, чтобы кто-то меня там ждал, сама устроюсь, без твоих сопливых. Ты сам вшивый и нечего оскорблять! Это тебе не старое время: женщины с мужиками нынче все равны...

– В городе хорошо только уличным распутницам и ты попадёшь туда запросто, как там окажешься без крыши над головой, без копейки в кармане. И что ты заладила: уйду, уйду. Только бы на нервах поиграть? – с досадой прибавил Давыд, уже начиная думать, будто жена и впрямь не шутит.

– А ты не приставай со своими дурацкими наставлениями. Думаешь, ты умней меня? Да ничуть! Просто ты наглый, как твой танк, на котором служил, – с обидой вырвалось у неё.

– Ладно, ладно, Зиночка, больше не буду. Ты такая хорошая, умная хозяйка, – Давыд нарочно смягчил обстановку и жена, поплавав, была прежней. Но это ему только так казалось, поскольку недовольство колхозной малоинтересной жизнью продолжало медленно бродить в ней. Конечно, с виду она была вроде бы такой же, как и раньше, не забывающей обязанности жены, хозяйки, матери. И жизнь молодой семьи текла по-прежнему. Ссоры, однако, начинались и по другим причинам, а порой так даже внешне как будто и беспричинно. Иногда молодая женщина не давала себе отчёта, почему вдруг ей манилось ругаться с мужем? Может, только оттого, что Зина совсем разлюбила Давыда, так как он был с ней ласков в постели до тех пор, пока это было необходимо ему. А потом быстро остывал, в то время как она лежала вся

в нервном оцепенении, не понимая того, что с ней происходило. И когда в следующий раз наступал момент супружеской обязанности, она уже боялась повторения прошлого состояния, а чтобы его больше не испытывать, Зина уклонялась от ласк мужа, говоря, что у неё дурное настроение. Давыд раздражался, обзывал жену капризной и почти силой добивался удовлетворения без её на то желания, что вызывало у жены обиду, которую она пыталась не показывать мужу. Со временем Зина научилась притворяться: если ей с ним хотелось близости, она была сдержанна. Ей стало очевидно, что Давыд совершенно не угадывает её природные потребности. Впрочем, в них она тоже плохо разбиралась, и принимала мужа в постели со всеми его недостатками, довольствуясь его неумелыми поцелуями...

Когда Зина бывала в городе, она задавалась далеко не праздным для себя вопросом: какие в постели городские мужчины? Хотя тут же осудила себя за такое любопытство, что ведёт, как распутная женщина, которая об этом только и думает. Но Зина хотела оправдать себя, что такое любопытство проявляет не одна она; наверное, так думают и другие замужние сельские женщины, которые тоже несчастливы со своими мужьями. Ей почему-то казалось, что городские мужчины совсем другие. Зина считала, будто они намного просвещённой сельских во всех сторонах жизни, а значит, больше сведущи и в любви. Хотя внешне от сельских они мало чем отличались. На тех же, кто казался недоступным в силу того, что был одет в дорогие костюмы, она не могла смотреть без внутреннего трепета, несмотря на всю их внешнюю непривлекательность. Обыкновенно рядом с ними были такие же немыслимо нарядные и красивые женщины, которым она до глубины души завидовала и чрезвычайно сожалела, что она уродилась совершенно несчастливой...

Зина любила заходить в промтоварные магазины и всякий раз она выходила из них до такой степени расстроенная, что испытывала физическую слабость оттого, что многие красивые платяные ткани для неё были просто не по карману. И вот однажды с Давыдом, продав на базаре сало, она купила на платье дорогого крепдешина и шёлка. Муж недовольно ворчал, считая, что для села это непозволительная роскошь. Надо одеваться просто и практично.

В тот раз из-за такого пустяка они поссорились. Хотя для неё это был вовсе не пустяк, а желание одеваться исключительно по-городскому. И наперекор мужу она всё равно сшила эти платья. И Давыд, застав жену за примеркой обновок, нарочно сказал, что они не идут ей.

– Тебе нравится ходить в хлопчатобумажном костюме? Вот и ходи, а чего тогда в город надеваешь суконный костюм? – проговаривала она с обидой оттого, что муж не одобряет её нарядов.

– Да это же в город, а не в клуб. И на праздник ещё можно. А тебе нравится, чтобы все наши бабы перед тобой от зависти лопались? – отвечал муж, полный ехидства. – И твоя мать такая же воображала. И сестра тоже была ещё та штучка! Одна Майка скромница, вот с кого бери пример!

– Это не твоё дело! Что ты в женские дела вмешиваешься, и как ты смеешь Капу, покойницу, хулить? Я, между прочим, может, для тебя наряжаюсь, – усмехнулась озорно Зина, поведя кокетливо плечами. Хотя знала, что это далеко не так.

– Если бы ради меня, ты бы так не выпендривалась, – испуганно сказал он, взирая на её выкомаривание изумлённо, поскольку в эту минуту Зина была не похожа на себя прежнюю. – Что ты дёргаешь плечами, как курица крыльями перед петухом? – и усмехнулся ехидно, скрывая ревность.

– Я тебе не курица, это ты петух, прыгаешь на жену без её согласия. Ничего не понимаешь в красоте женщины, тебе нужна деревенская клуня, зачуханная. А я уже не хочу быть такой, и никогда ею не была, понял!..

– Я же и говорю – воображала большая. Ты не в городе живёшь, а городской себя представляешь, наверно, спишь и видишь, что ты в городе живёшь, ха-ха! А задница деревенская...

– Ну и свинья же ты, Давыд! Если надо – уеду в город и у тебя не спрошусь! Я больше тебе и слова про это не скажу.

Из другой горницы послышался плач ребёнка, который там спал и Зина пошла к нему, чтобы переодеть его. Одно время из-за сына она не ладила с матерью, так как просила её сидеть с ним, а сама хотела выйти на работу. Ульяна Степановна тогда ей ответила, мол, у Давыда есть тоже мать, вот и пусть Серафима берёт на себя внука. Зина обиделась, пошла тогда к председателю Костылёву, чтобы отдать в ясли шестимесячного ребёнка. Когда Ульяна Степановна об этом узнала, она не на шутку испугалась, что дочь собирается загубить ребёнка, так как в яслях была нянкой бездетная, безмужняя сестра Афанасия Мошева Ангелина, прослывшая в посёлке, как и её братец, напористой, громозвучной бабой, хотя ей ещё не было и двадцати пяти лет. Но на вид она казалась старше своего возраста. С ней работала и поваром, и воспитателем Василиса Тучина, жившая со свекровью. У Василисы была младшая годовалая дочь. В своё время Макар предложил Василисе работу в яслях, в которые уже водили мамы с десятков детей ясельно-детсадовского возраста.

И вот Ульяна примчалась к дочери и стала её распекать:

– Ты в своём уме, Зинка, ребёнок для ясель ещё маленький и кому отдашь – Гелине, которая не знает, как обращаться с детками? Сиди сама дома!

– Василиса там есть, она хорошая женщина, – ответила дочь. – Я работать буду... всё равно, маманя, если тебе трудно выручить меня...

– Василиса со своим бы управилась дитём, а твой ещё не ходит, а с ним надо нянчиться немало. Не чаешь влезть в хомут доярки или молока тебе мало? Так я дам тебе, а нечего мальчика чужой тётке всучивать. Мне тоже работать надо – трудодни выхаживать, кто за меня будет? А Майка пушай учится и семилетку оканчивает. На выходной можешь принести – посижу. А ты снесёшь на базар мою сметанку продать...

– Ой, ну что за человек ты, маманя! Нужен мне этот хомут. Я хочу давно в город уйти, а ты меня замуж отдала за этого борова, да он же любить, как следует, не может, – жаловалась Зина, чего никогда не делала перед матерью. – А молока мне твоего не надо и даром, спасибочки, за твою помощь...

– Как ты так можешь хулить Давыда, боже, совсем без стыда! Да таких хозяев у нас ещё поискать! И о какой ты только любви мечтаешь? Капа, бедная, всё в город рвалась, а я не пускала, – в оторопи говорила Ульяна.

– Я тебе тоже самое говорила, а ты меня в замужество пихала: иди, прохлопаешь ненаглядного, может, он для тебя и хорош, но мне не подходит! Если бы я это тогда понимала... – отчаянно покачала она головой. – И теперь должна его терпеть. – Зина вдруг заплакала, замотала головой, а потом быстро отвернулась от матери.

– Молчи, молчи, непутёвая, а то, как он услышит! Я шла и боялась твоих слёз, чуяло моё сердце, что неладно вы живёте...

– Давыда нет, к отцу ушёл...

– И какого тебе лешего ещё надо? Другая бы Бога за него молила, а ты никак не ценишь и не понимаешь своего счастья, Зина, – Ульяна задумалась и потом ушла домой в самых тревожных предчувствиях...

И грянула война, ушли на фронт мужики, а Зине, будто того было и надо. Когда прощалась с мужем, её прошибли слёзы не оттого, что Давыд уходил на войну и мог там погибнуть, а потому, что решила тут же уйти в город, о чём не могла сказать мужу, чтобы не расстраивать его в такую тяжёлую для прощания минуту. И собиралась сообщить после, но как это сделает, совершенно не имела понятия. Из-за этого её порой мучили слёзы, да и Давыда по-человечески ей было жалко, так как перед ним чувствовала свою неизбежную вину. Ведь в такое страшное время решила круто изменить свою жизнь, отказавшись от долга жены, матери, загрезив городом, куда её толкала словно неведомая сила.

Конечно, в город она подалась не сразу: от того дня, как проводила на войну мужа, прошло ещё какое-то время. Однажды с оказией побывала в сельсовете, где председателю Рубашкину выказала своё заветное желание выйти из колхоза, что хочет по комсомольской путёвке работать на стройке.

– А воевать не хочешь? – вдруг спросил Андрон Борисович, прищуривая хитро глаза. – В медсёстры иди, набор на курсы объявлен. Ты, если не сдаёт мне память, замужем за Полосухиным? Вот и ребёнок есть, а куда-то рвёшься: странно. Война, а тебе какую-то стройку подавай?

– Ну и что, если медсестрой в госпитале, я могу, – робко ответила Зина, не вынося сверлящего взора Рубашкина, к тому же её поразило, что председатель знает, чья она невестка. Хотя была наслышана о нём, как о всезнающем про всех и вся. – Я везде могу. Только дайте разрешение выйти из колхоза.

– Зачем тебе выходить? Нет, так не годится, люди в колхозе нужней. Но в виде исключения – медсестрой – пожалуйста. Ступай в райком комсомола. А я справку дам, что можно... Да, а на кого ребёнка оставишь? На мать? Так и знал...

И Зина добилась направления на медицинские курсы. Хотя она очень боялась, что её могут отправить на фронт. Она тайне думала о разводе с мужем, к чему не знала как подступиться, ведь чего доброго её упрекнут: муж воюет, а она разводится. Сына Колюшу, который уже бегал, взяла мать, Ульяна Степановна, она с горечью в душе отпустила старшую дочь, что подлаешь, раз заблуждала городской жизнью. Своим бабам Ульяна объяснила поступок дочери просто: дескать, после обучения на курсах Зина станет работать в госпитале медсестрой, что вполне приравнивалось к фронту. На её полноватом лице светилась гордость, дескать, Зина поступила умно, чтобы быть там, где сейчас нужней всего...

Курсы медсестёр проходили в старом здании медицинского училища, которое стояло за соборной площадью по Крещенскому спуску, ведущему к железнодорожному вокзалу. В высокое полуovalное окно хорошо был виден громадный Вознесенский собор, который просматривался самым большим центральным куполом, как помнила Зина, с их колхозного тока. Он впечатлял и на большом расстоянии сверкавшим в ясный солнечный день своим позолоченным крестом. Вблизи же впечатление от собора было непередаваемое, словно высечен из гигантской скалы шедевр архитектуры. Он работал и в будни, и по воскресеньям, когда наплыв прихожан был больше всего. Зина, как комсомолка, боялась входить в собор, чтобы не навлечь на себя гнев начальства. В городе она жила в общежитии. В группе курсисток в основном были только городские девушки. И лишь несколько – из пригородов и соседних хуторов и станиц. По улицам, где дороги были вымощены булыжником, ездили автобусы, легковые автомобили и грузовики. Как никогда по улицам ходило много военных. На ипподроме иногда проводили тренировочные занятия будущих медсестёр. Здесь же обучали молодых солдат, которые заводили с девушками знакомства и назначали им свидания. Но Зина не особенно жаловала своим расположением и парней, и молодых мужчин. Хотя некоторые ей очень нравились, но она была замужем, чем, собственно, иногда тяготилась. К тому же её не устраивала, с кем бы то ни было, временная связь, так как всем им скоро предстояло отправляться на фронт. В группе замужних не было и поэтому Зина считала себя самой опытной в женских делах, чем, однако, ни перед кем не кичилась.

Несколько раз с девушками она ходила в кино, которое видела в своей жизни немного, к ним в посёлок кино привозили из города нечасто – в месяц раз или два, а то и ни разу. Но самым волнующим моментом было посещение танцев в парке, который в старое время, говорили, назывался Александровским садом, где танцевала со своей девушкой по комнате, приехавшей на курсы из хутора Большой Мишкин. Ада была девушка весьма рослая, стройная и степенная в движениях, с уверенным взглядом. Одевалась по-городскому, читала книги, беря их в библиотеке. Зина же, к своему стыду, читала очень давно, даже не держала в руках газет. Больше всего её привлекали магазины и кино. Жизнь в городе, несмотря на войну, шла

в своём привычном заданном ритме. Познакомившись непосредственно с её укладом, Зина стала понимать, что жить в городе непросто, каждый день приходилось питаться в столовой, на что нужны немалые деньги. Из дому продуктов не навозишься, да и хранить в общежитии их негде. А когда Зина узнала, какие на продукты кусачие цены на рынке, где картошка стоила очень дорого, а чтобы купить килограмм сливочного масла нужно уплатить трёхмесячную зарплату рабочего, то есть до 800 рублей. Хлеб выдавали по карточкам по 600 грамм на день.

Так что картошку, другие овощи ей привозила мать, ведра хватало на неделю. Ада тоже имела свои продукты, и они готовили еду совместно. Радио почти каждый день сообщало о положении на фронтах, которое волновало без исключения всех, внушая тревогу. Когда осенью пали Киев, Днепропетровск, Харьков, когда немцы стремительно продвигались в глубь страны, было уже ясно, что не сегодня-завтра враг ворвётся в город, где в спешном порядке с заводов вывозилось на станцию оборудование: мимо училища каждый день проезжали крытые брезентом грузовики. Горожане из привилегированного числа тоже готовились к эвакуации, но простой люд никуда не собирался, заготавливавший, однако, впрок провиант. Хотя осенью в школах, техникумах, институтах, ремесленных училищах занятия начались как обычно. Молодёжь отнюдь не унывала; продолжали работать магазины, рестораны, кафе, столовые, кинотеатры, театр драмы. Казалось, в городе шли две параллельные жизни двух слоёв общества. И лучше чувствовали себя те люди, которым было суждено пережить оккупацию, хотя исключительно об этом никто не вёл досужих разговоров. Но всё равно рождались какие-то нелепые слухи, что скоро власть переменится, что будет восстановлен самодержавно-демократический строй...

Однако с наступлением темноты по городскому радио предупреждали о соблюдении светомаскировки, а кто не будет её соблюдать, тем грозит суровое наказание в условиях военного времени. Даже если кто зажжёт на улице спичку, не уйдёт от ответственности, это расценивалось как подача сигнала врагу. И Зина с Адой вечером уже боялись показываться на улице, где несли дежурства военные и гражданские патрули...

Словом, ночью город погружался в непроглядную темноту, и в ясную погоду в небе сияли яркие звёзды или светила большая луна, в свете которой можно было видеть прохожих и гуляющие парочки. Между прочим, участились разбои, грабежи, что тоже нагнетало обстановку. Зина думала, что в посёлке Новый намного безопасней, чем в городе, хотя бывало, что и в колхозе появлялись воры. Долго люди обсуждали случай, произошедший весной, когда Роман Климов, дежуривший на свинарнике, управился один с двумя матёрыми ворами, пришедшими из города...

А потом всем курсисткам в свободное от учёбы время вменялось участвовать в подготовке эвакуантов, девушкам приходилось таскать медоборудование. Но в этой работе участвовали не только они, но и курсанты лётного и суворовского училищ, старшеклассники школ, учащиеся фабрично-заводских училищ...

Домой проведать сына, по которому Зина скучала особенно первое время (а потом к разлуке привыкла), она ездила ближе к вечеру в субботу, а в воскресенье возвращалась в город. Ульяна Степановна провожала дочь, видя, что Зина по-прежнему рвётся из дому, а ведь сама уже с лица сошла, платья обвисают, как на вешалке.

– И чем тебе дался этот город – не знаю! – в досаде говорила мать. – Давыду-то хотя бы письмо написала. Я адрес у твоей свекрови взяла. Серафима дуется на тебя, и чего ты не сходишь к ней, не объяснишь, что ты тоже на службе?..

– Напишу... просто мне сейчас очень некогда, – нехотя отвечала Зина. – А к свекрухе не пойду, она меня всегда ненавидела, да и кого она у нас уважает, вечно чем-то недовольна. И такая же её Стешка. Ты скажи им, что я, может быть, скоро на фронт уеду, нечего ей дуться в такое страшное время.

– Я говорила, что тебя учат на медсестру, но про фронт это правда, доченька? Да что я буду делать тогда? – закачала она сокрушенно головой.

– Да, правда! Я же сама согласилась, и в тыл не буду проситься, наверно. Через два месяца нас с Адой выпустят. Нам говорили, что скоро будем дежурить ночью на крышах жилых домов, когда вдруг начнётся бомбежка, но этого я не должна даже тебе говорить. А ты молчи, маманя, – сурово предупредила она.

– Боже упаси, чтобы я кому-то сказала! И чего наши немца не остановят, да зачем он нам нужен, я уже сама ночами не сплю, боюсь самолётного рёва. Как услышу звук, так вся трясусь и крещусь, – признавалась Ульяна Степановна. – А ты береги себя... смотри, меня не опозорь с чужими мужчинами. Помни, что замужем – не искушайся, смотри Зинка.

– Это я без напоминаний знаю, маманя. А ежели влюблюсь невзначай? – тут же спросила она, смеясь и ответила, как давно решённое. – Тогда я своего шанса не упущу. В колхоз я всё равно уже не вернусь...

– Ой, Зинка, не балуй, сраму будет мне, а Давыд как – пожалей сыночка. Кому ты нужна с ребёнком там, да ещё война, ой, смотри, не балуй. Как отцу буду в глаза смотреть после, смотри, Зинка, ты влюбишься, а он только побалуется тобой и с животом оставит. Вот срам нам будет! – в оторопи рассуждала Ульяна Степановна.

– Не унывай, маманя, я ещё ни в кого не влюбилась, это я пошутила, – весело проговорила Зина, хотя сама мечтала о любви, несмотря даже на войну.

– И не дай Бог! А мне твои шутки не нужны. У нас вон что говорят про Анфиску Путилину, будто Гришка Пирогов её обрюхатил, так она избавилась от живота. Говорят, ночью ходила к Чередничихе старой. Она умелица плод вытравлять. Хорошая девка, но вот ослабилась на весь посёлок: мать опозорила, и сама в грязь блуда упала.

– Ну, так это же Анфиска, а не я. Может, это всего лишь злая бабская сплетня? Ведь она такая гордая, умная и с каким-то Гришкой? – усмехнулась Зина.

– А зря говорить не станут. Гришка видный парень, но гуляка, как и его отец, путался то с Тамарой Корсаковой, то с Авдотьей Треуховой, то с Домной Ермилиной. Да-да, доченька, такие уважаемые бабы и туда же. Павла знала – ругалась на наряде с бабами. А они только на смех ее подняли. Даже слух прошёл, будто Захар обнимал Вальку Чесанову. А твой деверь Панкраса из-за этого жениться на ней передумал...

– Врут твои бабы много! – воскликнула Зина. – Что она сама к старому мужику на шею вешалась? От него и мне перепадали пошлости. Но я молчала на его дурацкие штучки. И я не слышала, чтобы Панкрат собирался на ней жениться. Это бабы выдумали...

– И что ты за человек, Зинка: на Давыда рукой махнула, чует моё сердце, не напишешь ты ему. Нет, не напишешь. Как мне стыдно перед Серафимой. Если бы ты знала! Чую я – это навсегда, а сын как будет... без матери?..

– Нечего заранее гадать, мамаша, иди домой, а я сама доберусь, – оборвала почти грубо Зина.

– Смотри, будь осторожней, пешком сама больше не ходи, с okazji приезжай, а где её, эту okazию, найдёшь? – сокрушалась Ульяна Степановна, остановившись, трёхкратно перекрестив дочь. И потом ещё смотрела ей вслед, держалась рукой за подбородок, ощущая как текли по щекам слёзы...

Глава 4

...Когда Гриша Пирогов уходил на фронт, Анфиса Путилина помахала парню рукой. Накануне она велела ему близко не подходить к ней, полагая, что бабы ничего не знают о её связи с ним. Но относительно честности Гриши она ошибалась. Девушка считала, что он обязательно сдержит данное ей слово, чего, однако, не случилось, так как от переполнявшего чув-

ства гордости за себя, парень проговорился сестре Глаше исключительно из бахвальства, что почти всю ночь гулял с Анфисой, самой чудесной девушкой в посёлке.

– Да что ты врёшь, Гриня! – сказала недоверчиво Глаша. – Анфиса с тобой гуляла, хи-хи, намеренно от неё я слыхала, что в посёлке для неё нет ни одного достойного парня. Чуешь ли, что она балакала? – лукаво подначивала она.

– Ха-ха-ха! – засмеялся брат. – Она так правда тебе говорила, в это даже трудно поверить! Я запросто целовался с ней и даже больше...

– Хвастунишка, Гришка, что же могло быть больше поцелуя? – деланно протянула сестра, лукаво глядя на брата. – Ты ври да меру знай! – протянула она нарочно, чтобы вытянуть из него признание.

– Как хочешь, так и думай, теперь она моя... это я точно знаю! – гордо воскликнул Гриша.

– А Валька Чесанова свободна, как же она, тебе уже не интересна? – спросила Глаша, веснушчатая, светло-русая девушка, встречавшаяся одно время с Ильёй Климовым, а в последнее время с Мишей Старкиным, а Илья вдруг переметнулся к Доре Ермолаевой.

– Да, уже душа к ней не лежит. Анфиса намного лучше, но ты смотри только никому ни слова, – строго предупредил Гриша...

– Ой, из чего ты секрет делаешь? – махнула она недоверчиво рукой. – Ладно, никому не выболтаю. Но ведь всё равно и без меня люди узнают, – усмехнулась кокетливо сестра, думая серьёзно, что кроме неё кто-то ещё уже знает о брате.

Отчасти Глаша была права, но, испытывая к Анфисе зависть, как счетоводу на ферме, она при первой возможности разболтала секрет брата Тане Рябининой низенькой, коренастой девушке. Как-то они сидели возле вагончика в ожидании коров с попасу; другие доярки мыли подойники или стояли в отдалении и разговаривали. Анфиса же только что пришла на стойло, поздоровалась со всеми как обычно, но Глаше показалось, что её она не заметила.

– Какая важная птица! – сказала неприязненно девушка. – Строит из себя барыню, а сама гуляет с моим братом.

– Правда? Это она учудила по-соседски! В клуб не ходит или раз по обещанию, – ответила подруга удивлённо. – А я думаю, чего это у неё живот выпирает не в меру, значит, она уже залёточка?

– Гришка, кстати, намекал о близких с ней отношениях, но я не поверила.

И этого было вполне достаточно, чтобы эта новость растеклась грязным ручейком по всему посёлку. А спустя время та же Танька Рябинина, жившая через два двора от Чередниковых, рассказывала дояркам, что к Чередничихе вечером приходила якобы Анфиса. А чем иногда занималась старая Чередничиха – эта весёлая, взбалмошная певунья и плясунья, в посёлке всем было хорошо известно. Не одна баба побывала у неё, избавлявшей от нежеланного бремени...

Собственно, на самом деле всё было несколько иначе. Анфиса действительно имела слабость отдаваться Грише, действительно она опасалась беременности, ведь критические дни для неё прошли и она с трепетом ждала нового цикла, который, однако, уже запаздывал. Но это она относилась к своим переживаниям, а потом её опасения оказались преждевременными. Анфиса с облегчением удостоверилась, что она вовсе небеременная и с этого времени вновь повеселела, сделавшись непринуждённой в присутствии посторонних. Но с Гришей всё это время старалась не встречаться. Когда он захотел увидеть её, Гриша на полпути домой остановил девушку. И Анфиса, почувствовав к нему неодолимое влечение, согласилась прийти в условленное место. Гриша был счастлив, видя это, она спросила:

– Я надеюсь, что ты не болтун? Сестре ничего не говорил, а то Глаша смотрит на меня так, будто я должна ей что-то.

– Конечно, о тебе сестре я смолчал, как рыба! – поспешно ответил он, пряча, однако, от неё глаза. Анфиса тоже опустила взор, она догадалась, что он врал, но больше ничего ему не сказала.

В следующий раз она всё равно пришла в лесополосу с таким чувством, будто у кого-то отняла парня, и до сих пор не могла понять: почему она так легко уступила ему, словно давно встречалась с ним? С того раза они почти не разговаривали, хотя видела, как он смотрел на неё издали. И это было тем более удивительно, что она никогда бы не вышла за него замуж, так как Гриша не совпадал с её представлением о суженом. Тем не менее вдвойне было странно то, что с недавних пор она испытывала к нему как будто родственные чувства. Разумеется, ближе парня, чем Гриша, у Анфисы пока что не было. И отныне ей казалось, вряд ли когда будет, о чём, правда, она больше не задумывалась, живя исключительно ради сиюминутного удовольствия.

– Ах, Гриша, что я делаю? Гублю себя, – с чувством прошептала Анфиса, прижимаясь к нему всем телом, закрывая от грешного стыда глаза.

– Почему ты так считаешь, дак я ж тебя люблю! – удивлённо воскликнул он.

– Люби, люби, Гриша, больше никого нет, это ты знаешь, и ничего не спрашивай. Мне с тобой очень хорошо, делай своё мужское... Боже, что я говорю: это же чистый срам! Неужели у нас с тобой такая страстная любовь? – горячо шептала она в полусмехе.

На этот раз он не торопился. Ему самому хотелось побыть с ней дольше обычного. Она вселяла ему непоколебимую уверенность.

После того, как парочку стало так неодолимо притягивать друг к другу, и когда это случилось в очередной раз, Анфиса велела тому уходить первым, тогда как она, вместо того чтобы идти домой, вдруг сама не зная зачем пошла на ферму, где дежурили по ночам из-за отсутствия скотников доярки. Она заглянула в окно, увидев в дежурном помещении брата Гордея и Ксению, не стала заходить: обошла вокруг ферму и пошла домой. В клубе ещё горел свет, откуда доносилась гармошка, на которой (она знала) рьяно играл Дрон Овечкин. Затем по противоположной стороне улицы Анфиса поравнялась с хатой Чередниковых, желая у старухи узнать: правда ли, что задержки месячных бывают единственно в том случае, когда женщина забеременеет? Хотя у неё подобное ещё не случилось, но ей хотелось точно знать, когда это происходит, чтобы потом быть ко всему готовой. В этот момент она увидела вышедшую из двора Зинаиду Рябинкину, и у Анфисы тотчас отпало желание идти к старой ворожее. Она заторопилась уйти с глаз долой тётки Зинаиды, слывшей в посёлке донельзя любопытной, способной вдобавок выдумывать разные небылицы. Наверное, всё-таки та заметила девушку, что вскоре и послужило толчком для сплетен об Анфисе...

А через несколько часов началась война, чего тогда люди ещё не знали. А потом Гриша ушёл на фронт. В ту же ночь Анфиса во сне увидела свою бабуку, которая несла на руках новорожденного ребёнка. Анфиса с радостью было хотела взять на руки младенца, но бабука стала крестить его и выгонять её прочь. «Бабушка, зачем ты меня прогоняешь, – с обидой спросила она. – Ведь это же у тебя мой ребёнок?» «Нет, Фиска, твой ребёнок никогда не родится, а этого я отдам Гордею, когда придёт время». И бабука вдруг пропала, Анфиса проснулась в жутком смутении. Свою бабуку, материну мать, Анфиса помнила хорошо, когда она умерла от голодного истощения, ей было лет десять или того меньше.

Но прошло время, Анфиса убедилась, что и на этот раз она не забеременела. Конечно, это открытие её несказанно обрадовало, так как избежала людского позора. Однако от оживлённых пересудов о своей тайной связи с Гришей она была вовсе не защищена, чего она больше всего опасалась. Но злая молва никого так не коснулась, как ее саму. Анфиса старалась держаться на людях невозмутимо и вполне уверенно под озабоченными взглядами баб, будто нарочно ощупывавших глазами ее живот; она вовсе не смущалась, словно и впрямь была безгрешная, оставшаяся невинной. Хотя это самообладание ей давалось весьма нелегко...

Чередничиха была престарелая, крепкая, выносливая женщина. Несмотря на свой подвижный, весёлый ум, она умела молчать обо всех тех, кто когда-либо обращался к ней за помощью. Её слава по женским делам распространилась далеко, и к ней приезжали даже из далёких хуторов и станиц. Днём она никого не принимала, в колхоз выходила на наряды в первые годы жизни в посёлке. А потом не стала, занимаясь огородом, хозяйством, помогая воспитывать детей сыну Александру. Старшая, Алёна, уже всю невестилась, начав бегать в клуб на танцы. И вот у неё Танька Рябикина спрашивала об Анфисе, была ли она у её бабки, на что Алёна только сдержанно пожимала плечами.

– А ты спроси у бабули, – подсказывала Рябикина, хитро глядя на неё.

– Интересно, зачем тебе это надо знать, не боишься быстро состариться? – отвечала красавица Алёна.

– Просто интересно: Анфиса строит из себя недотрогу, а все знают, что Гриша её провожал домой, и они целовались. А своей сестре он говорил, будто спал с ней, и моя мать видела её у вас...

– Твоя мамаша была у бабушки – это я сама видела, но Анфиски не было. Пускай она больше не врёт, кто её, болтунью, не знает?

– Да это ты врунья, а мамка правду сказала, я догадываюсь, что Анфиска просила не болтать про неё, ведь это так, да?

– Ошибаешься, я не занимаюсь сплетнями! Что ты пристала, тебе какое дело до неё, вот, когда придёт твоё время – сама окажешься в таком же положении, о каком говоришь.

Рябикина вовсе не смутилась от её слов. Но ей стало смешно оттого, что Алёна ей что-то пророчила, оставшись неудовлетворённой в смысле любопытства.

Танька перекривила безобразно маленький рот, высунула длинный язык и бросила запальчиво:

– Тьфу, на тебя, ведьмину внучку! – и убежала.

Действительно, некоторые бабы Чередничиху по-своему опасались за то, что она хорошо разбиралась в лекарственных травах: умела гадать на картах, снимать порчу и сглаз особым заговором. И даже поговаривали, будто Чередничиха знает толк приворота и отворота, что таким образом она женила сына на женщине, которой он был не люб, о чём она будто бы сама жаловалась бабам...

Однажды Зинаида Рябикина видела, как Чередничиха возле своего двора разговаривала с Романом Захаровичем, а потом вдруг она повела его на свой ухоженный огород, где каждая травка знала своё место, и показывала ему какую-то редкую траву. Всем было известно, что Климов тоже интересовался травами и давал бабам по этой части лечебные советы, какие лучше им принимать от хворей, а от каких надобно воздержаться или необходимо обращаться весьма осторожно. Зинаида из-за своих кустов шиповника смотрела на соседку и Климова. А потом на наряде шепнула его бабке Устинье, которая с недоверием взглянула на Рябиниху, боясь, что та уже всем разболтала. Хотя в её словах ничего не видела предосудительного. Но бабы почему-то норовили всему придавать какой-то двойной смысл, который уводил от истины.

– Ну и что от этого, Зинка, – махнула рукой та, недовольно насупившись.

– Как что? Твоего деда может заговором увести от тебя, или не слышала, как Чередничиха своего мужика, где она раньше жила, уморила за его шашни с чужими бабами? И твоему подсовывает травку, ой, Устинья, и уже не знаю, как вам ещё объяснять?

– Ой, да зачем мой дед сдавси, старый, когда твой Панька молодой. И вот ты гляди в оба за ним, – почти серьёзно проговорила Устинья.

– Да мой, поди, больно коряв для этой огудины! – засмеялась Зинаида и отошла от бабки, вздумавшей задирать её, не слушавшей мудрых предостережений.

Однако Устинья, ревновавшая мужа ещё смолоду, заговорила о Чередничихе с Романом Захаровичем в своём обычном тоне, не терпящем возражений, когда пришла домой с наряда, а он собирался в ночное дежурство.

– А скажи мне, Ромка, чаво ты с ведьмой разговариваешь тары-бары? В огороде у неё даже был, и чаво эта старая карга к тебе липнет, или вы против меня сговорились?

– Нужна ты ей, как кошке пятая нога! Только о деле мы говорили, о деле. Облепиха: есть такое целебное растение, оно помогает от многих хворей, у Чередничихи оно и растёт, а я пошёл поглядеть.

– А на её юбку пялился, срамник старый!

– А ты видела, Устя, чего городишь несусветное? Сама придумываешь, как будто я юбочник. В святом писании сказано про это прелюбодеяние, я не хочу лишаться своей чистой плоти, – строго сказал Роман Захарович, отчего Устинья вся покраснела, что дала маху, она знала своего деда, соблюдавшего во всех случаях жизни библейские заповеди, которые, бывало, толковал и ей.

– Ой, да если бы я городила, – в досаде махнула она рукой, сама не радая, что затеяла этот разговор, как это уже бывало не раз под влиянием ревности. – От людей слыхала, а мне, думаешь, приятно выслушивать? – она спрятала глаза.

– Да, бабам только бы языки чесать. А как и что, их это не волнует. К тому же Чередничиха ведьма совсем не вредная – помогает же многим бабам...

– А чего ты к ней в заступники записался? Будто ты всё знаешь о её колдовстве, – крикнула в ревности Устинья. – Посмотри в другой раз, какие зенки у неё чернящие, такими, поди, любого приворожит. Писание, думаешь, она читает, как ты? Небось, с сатаной заодно в заговоре...

Роман Захарович в недоумении удивлённо поднял и опустил плечи. На лбу собрались глубокие морщины. В колдовство он почти не верил и переубеждать жену не собирался. Но он был уверен, что люди порой сами себе вредят, когда нарушают заповеди Христа, чего, собственно, они не видят, а несчастья, которые случаются в их жизни, они приписывают кому угодно, только бы обелить себя, свои не всегда благие поступки.

– Эх, Устя, легко ты словами разбрасываешься, – вздохнув, всё-таки вымолвил Роман Захарович, желая вразумить жену. – Наговор в твоих речах я слышу. Откуда тебе знать, что Чередничиха знает с сатаной, может, ты к нему ближе, чем она. Кому ты помогла добрым словом, или спасла от беды? А Чередничиха не раз выручала баб от хворей, хотя вытравление плода я не одобряю, тут бабы сами заигрывают с дьяволом, а этого и не ведают.

– Вот-вот, против писания и Бога идёт, ребячьи жизни убивает. А меня нечего к сатане приставлять, идол ты, Ромка, – обиделась не на шутку Устинья. – Я мало тебе хорошего сделала, или это не в счёт? Ишь, как ты за неё заступаешься, проклятый! Так и знай – она приворожила тебя! – крикнула жена, ткнув в его сторону пальцем: – удумал мя равнять с сатаной, а ты сам лешак! Видала много раз, как ты на Пелагею пялишься, идол!

– Не греши, Устя, и как ты не смущаешь себя глупыми выдумками. Пелагея невестушка, как дочь мне, а у тебя в голове ветер свистит фантазиями в мозге грешном, а мне их приписываешь, – он качнул головой и задумался: почему к старости, жившие в любви и согласии супруги, теряют друг к другу уважение и отношения становятся холодными, и всё это происходит оттого, что любовь постепенно уходит, вытекает, как из старого сосуда целебный напиток. И людей словно мучит жажда соперничества и споров. Когда-то Устинью он любил, и она его любила, а как только перестали вместе спать, так что-то изменилось, словно между ними легла глубокая межа, которую уже было невозможно перешагнуть. Устинье теперь не зря казалось, будто к нему в дежурку каждую ночь приходит какая-то баба. Теперь он припоминал, когда он утром появлялся дома, она бывало неприязненно молча смотрела на него, стараясь понять, что он испытал прошедшей ночью; а так как её глаза, наверное, выдавали движение внутренних

мыслей, она стеснялась говорить ему о своей ревности, для которой, собственно, не было особой причины. И Роман Захарович мысленно снисходительно усмехался, ловя себя на мысли, что ему не очень приятно сознавать о тайных подозрениях Устиньи. Она же действительно про себя гадала: с кем бы он мог согрешить, так как он понимал, как бы человек ни был набожен и соблюдал святое писание, в любом возрасте при взгляде на молодую женщину его иногда навязчиво донимали греховные мысли. Он, конечно, осуждал себя за появлявшийся в душе соблазн, который, однако, он решительно подавлял в себе усилием воли. Роман Захарович также сознавал, что дежурства и отдалили его от Устиньи, которая, впрочем, надо было честно признать, уже больше его не волновала, как раньше. На молодых женщин заглядываться, испытывая вожделение, не только грешно, но и преступно, считал искренне он. Но если приходит соблазн, значит, это свойственно человеку даже в преклонном возрасте. А ещё в двухкомнатной хате, где сын и невестка, и была ещё и внучка с мужем и внук Илья, непристойно удовлетворять свою плоть. Он это Устинье никогда не говорил, но она и сама понимала, что своим присутствием они мешают молодым. Для этого и построил во дворе кухонный флигель, где Устинья спала весь тёплый сезон. И он через две ночи на третью, но уже изрядно отвык от жены в последние годы, с чем она неотвратимо смирилась, но затаила на него обиду, которая и прорывалась в моменты ревности, как это произошло сейчас.

Но война опять сблизила Романа Захаровича и Устинью: когда проводили сына на фронт, в хате жила Пелагея с сыном, которого тоже могли скоро призвать. Хотя ему ещё не было восемнадцати лет. Роман Захарович рад бы пойти вместо внука, да кто его слушать станет. И нет такого закона – каждый воюет за себя ради долга перед родиной.

Глава 5

Пелагея невысокая, полноватая, ещё с молодой фигурой, по-своему красивая баба, переступала уже свою зрелую пору, но была ещё в полном соку. Проводив мужа Устина на войну, оставшись с сыном Ильёй да со свекровью Устиньей и свёкром Романом Захаровичем, она всё чаще ощущала себя одинокой. Дочь Зоя писала в месяц по письму, она уехала с мужем Иваном Золотарёвым на Вологодчину ещё в мае, откуда должны были давно вернуться, но началась война, мужа забрали на фронт, Зоя в положении порывалась уехать к своим. Но свекровь, окружившая её заботой, не отпускала, да обступавшие село почти со всех сторон леса полюбили Зое, куда она ходила ещё с мужем по грибы и ягоды. Иван писал ей, что разобьют фрицев, и он придёт, и тогда они поедут к Зое. А теперь она видела, что без него не может уехать, что ей суждено остаться здесь. Мать писала об ушедшем на фронт отце и брате, проходившем военную подготовку, а баба с дедом живут хорошо, но скучают по ней...

Сама Пелагея чувствовала себя совсем одинокой, но дочери об этом воздерживалась писать, боясь её, в положении, тревожить. Илья приходил с улицы за полночь, когда мать спала, а утром рано она вставала на колхозную дойку. Свекровь Устинья жарила картошку, доила корову и возилась в огороде, дожидаясь с дежурства деда Романа. Внук Илья работал в тракторной, и он тоже спешил на уборочную. Каждый день не высыпался, а тем не менее, как только темнело, уходил в клуб. Да и со страды иногда приходил поздно, так что Пелагея сына не видела. В воскресенье с ребятами и девушками уходил на военные сборы.

Однажды Роман Захарович застал в хате невестку в слезах. Как он выяснил, Пелагея плакала после тревожного сна, когда она увидела мужа изувеченным, просившим у неё помощи. В письме Устин сообщал о страшных боях под Смоленском, что они удерживают город и не пускают врага, который яростно рвался к Москве.

– Пока Устин жив, нечего переживать, – начал успокаивать свёкор. – Тебе кажется, что его убьют, вот и снится он раненым.

– Когда же кончится война, отец? Зойка осталась там мужа ждать. Илью могут забрать, как тогда жить после этого дальше? Я не могу так мучиться! – плакала невестка.

– Война – не игра, надо терпеть и молить Бога, чтобы все были живы. Может, уже зимой погонят прочь немцев! Это пока тепло они спешат, а холод придёт, назад побегут, как когда-то Наполеон. Россию ещё никто не поработил, и фашисты уйдут от наших войск...

Роман Захарович понимал, что нынешняя война во многом не похожа на первую империалистическую. С невиданным размахом нападают немцы, готовые уничтожить, поглотить всю огромную страну. И жестокость, и злодеяния фашистов пугали, страшили население. И дед Роман успокаивал невестку, хотя сам не знал, как к зиме повернётся война, будет ли враг изгнан или он дальше пойдёт в своём безумном захватническом порыве. А наши войска, не ожидая его несокрушимого напора, ещё никак не придут в себя.

Устинья собиралась приступить к копке картошки, о чём говорила за обедом с мужем. Невестке вечером идти на дойку, а деду – в дежурство. Но времени свободного было у них предостаточно. И Устинья пошла торопить Пелагею, не понимая, куда исчез муж. Её словно кто в спину толкнул – заглянуть в хату: «Там он, чёрт старый, с молодой ляссы точит, у-у, – сказала она почти вслух, переступая порог в коридор, – а со мной молчит, идол, или поучает её чему-то»!

– А я ищу старого, а он пригрелся тут с Пелагеей, – заговорила Устинья недовольно. – Картошку можно начать копать: пошли, дед, и ты давай-ка, милушка, выходи, – обратилась она к невестке.

– Вот это правильно, – подхватил Роман Захарович, – война дойдёт-не дойдёт, копать надо, – и он встал с табурета.

– А ты знахарь, на все руки! – буркнула Устинья. – Чего о войне думать, когда дел у нас много на подворье, или секретничаете о чём-то важном?

– Иди, старая, не тереби душу своей глупостью, – сказал весело муж.

– Я скоро приду, – ответила невестка.

Когда вышли из хаты, Устинья смирив мужа ненавистным взглядом.

– Так бы и торчал с ней, ровно мёдом она намазана! При сыне боялся, я это замечала. А его нет – тебе воля своя.

– Что ты, Устя, цепляешься, как репях! Не о том думаешь. За кого меня принимаешь? И при Устине я также с невесткой болтал, а ты что думаешь, я совсем из ума выжил, больше не о чём поговорить, она же мать, жена, чувств не имеет? А тебе всё срамное мерещится. Эх-эх, Устя!

Роман Захарович взял лопату, ведро и пошёл на огород. Устинья с мешком шла следом и ворчала. Узкая тропинка, отороченная зелёным спорышом, привела на огород, начинавшийся сразу за сараем. Земля была сухая, ботва картошки торчала высохшими стеблями, освобождённая от лебеды, щетинника и пырея. Засохший сорняк лежал кучами по краям тропинки.

Многие люди уже приступили к уборке картошки. Бледно-голубое небо было испещрено перистыми облаками, края которых барашками завернулись от ветра. Вдали над балками колыхалось пыльное марево, где-то слышалось урчание грузовиков, рокотание комбайнов, гул тракторов. Сжатые поля озимых и яровых рыжели золотистой стернёй. Там двигались как бы сами по себе копны соломы, стаскиваемые с поля двумя тракторами и лошадьми на обочину, где подымалась скирда и где мелькали в белых платках бабы и девки. За огородами давно уже убрали горох, и один трактор пахал землю, издавая натужно-отчаянный треск, дымя панически трубой. Над ним вилась стая грачей, перелетая с места на место, некоторые деловито и уверенно шагали по пахоте, выклевывая из почвы розово-коричневых осклизлых червей. В задах огородов стояла кукуруза жёлто-зелёными будыльями, с полувysохшими от жары листьями с початками, туго запеленатыми белыми и зелёными листьями, напоминавшими коконы шел-

копрядов. Солнце стояло мутное, вокруг него легли серебристые грязноватые круги. С беле-сого неба лился жаркий свет, растекавшийся над землёй ленивой дымкой. Высушенный тёплый воздух пах перестоялыми травами, выхлопными дымами тракторов, автогрузовиков, свежеспаханной землёй, соломой, ботвой помидоров, укропом. Роман Захарович смотрел на весь этот измученный зноем пейзаж, ставший уже родным и думал о том, как где-то под Смоленском сражается с врагом сын Устин, за которого он молил бога, чтобы остался цел и невредим. Там их сын защищает родную землю от врага, чтобы он не проник в глубь страны, чтобы не дошёл сюда. Но там леса, где население могло вполне укрыться и уйти в партизанский отряд, куда бы он записался первым, если бы жил там. А здесь нет лесов – одни лесополосы; с его, Климова, огорода, хорошо была видна Терновка. Молодые деревья тянулись уже довольно высоко не очень ровными рядами, попадались кустарники шиповника и тёрна. Там росли вишни, абрикосы, яблоки, груши, маслины. Эти деревья сажали с тем расчётом, чтобы сюда потом можно было ходить за фруктами, а на своих подворьях сады в те времена не разводили, боясь удушающего налогообложения. У некоторых, правда, было высажено несколько деревьев, с которых ещё не снимали урожая, но они уже который год числились в сельсовете как вполне реальный источник дохода.

Роман Захарович настолько углубился в свои мысли, что даже не услышал вопроса жены.

– Ты, Рома, чаво оглох, и о ком ты так думаешь? Я к тебе обращаюсь, или всё о Пелагее думки мусоляшь? А она идить к нам и не торопится. Я спросила, о ком ты с ней говорил? Или опять не слышишь, идол? – повысила она тон.

– А, чего ты спросила? – рассеянно, очнувшись от своих мыслей, переспросил он.

– Вядь ты слышал, что спросила, а притворяешься, – она стукнула ладонями себя по бокам и гордо выставила голову. – Ох и хитрый, старый чёрт!

– Што ты вся взбелянилась, я не могу задуматься о том, что нас ждёт скоро? Землю нашу жалко, которую враг танками кромсает, бомбами с самолётов выворачивает, города взрывает и рушит. Сколько трудов положено и на тебе!

– А мне не жалко, думаешь. Всем жалко, ты один нашёлся сердобольный, что ли? Лучше копай картошку, а то скоро побежишь в бригаду дежурить. А там доярки, телятницы, свинарки молодые... Вот к кому ты бежишь. Я чуть занялась делом, а ты к Пелагее. И что ты всё у неё выясняешь, старый?

– И што ты завелась, как старая шарманка и пыхтишь, как самовар. У тебя, скажу, дурная головушка, мысли одни какие-то односторонние. О каких бабах думать мне, кому я нужен! – и дед Роман начал выкапывать картошку, которая была не крупнее куриного яйца. С каждого куста по десятку-полтора клубней разной величины. – Плоха, плоха земля, как зола: испеклась картошечка. И не помню, были ли дожди нынешним летом?

– В мае были с грозами и в июне раз или два, а опосля только брызгал дождичек, – спокойно ответила Устинья, пристыженная мужем, отчего уже отпало желание расспрашивать его. Да разве он признается в своей симпатии к невестке, молчит, как индюк, что-то про себя всё думает. Но она, Устинья, всё равно чувствовала, что ему интересней побыть с невесткой, чем с ней.

– Дожей было мало, а сорняки вымахали как чертополох. Вся ботва забита ими.

– Если бы я траву каждый день не дёргала, то было бы ещё больше, – ворчливо отозвалась Устинья. – А тебе всё некогда, всё с голубыми возишься, как малое дитя.

– Ладно, хватит ныть, а то брошу и уйду! – прикрикнул раздражённо он, ворочая лопатой комья ссохшейся земли и разбивая её ребром лопаты.

– Ишь ты, противно со мной, а с Пелагеей болтал бы. Вон и она топает. Помидоры собирай! – повелительно крикнула Устинья невестке.

– Чего ты кричишь на неё, как на девчонку неразумную? – сказал спокойно дед Роман.

– А что, я должна шёпотом говорить отседова? Для меня она такая же, какой взял её Устин... – грубо прибавила Устинья. – Эта с нами она смирная, а как бы жили отдельно, чтоб вышло. Вон отделил Семён сына, а ушёл на войну, так Зинка хвостом махнула и в город улетела. Ульяна, мать её, пацана взяла. А дочь отпустила, я бы так ни за что не поступила, будь у меня дочь...

– Это их дело, нам нечего совать нос. И куда наша внучка вышла замуж, теперь там одна. Пелагея переживает о Зойке, а ты говоришь...

– Ну, кто знал, что война застанет девку там? Ничаво, как-нибудь перетерпит, сама выбирала такую долю, а то своих было мало парней...

В посёлок стали доходить первые похоронки. У Прасковьи Дмитруковой погиб муж Изот и она не вышла первый раз на работу. Накричавшись от горя, лежала в горнице без чувств. Потом пришли похоронки на Бориса Емельянова, Ивана Гревцева, Кузьму Ёлкина, Захара Пирогова, Александра Чередникова. И пропали без вести Прохор Половинкин, Ефим Борецкий, Николай Волосков. Вместе с женами погибших и пропавших без вести плакали и все те женщины, у кого мужья или сыновья были тоже на фронте. Но от них долго что-то не было писем. Именно с первой похоронки люди непосредственно осознали, что идёт страшная кровопролитная война; она поглощает всё новые и новые жертвы; казалось, ей теперь не будет конца и края. В колхозе уборочная страда немного затягивалась. Председатель Костылёв ходил весь чёрный, он как мог успокаивал женщин, у которых погибли мужья. Уже наступила осень; летняя жара наконец ушла, но по-прежнему стояла пока сухая погода. Иногда по серому небу с запада шли чёрные тучи или в воздухе пахло гарью, перегоревшим порохом. С запада летели стаи разных птиц, изредка были еле слышны отдалённые взрывы...

Где бы люди не работали, то ли в поле, то ли на огородах, они невольно прислушивались и, казалось, ловили как нарастал, приближался гул орудий или отдалённые звуки вражеских самолётов. От этого вмиг становилось на душе как-то тревожно и беспокойно.

В октябре недели на две вся молодёжь была забрана рыть окопы под хутор Кадамовский, который находился в северо-восточной стороне в двадцати километрах от Новочеркасска. Спали в палатках, питались пшённой кашей и похлёбкой из фасоли. Когда начались внезапные налёты немецкой авиации, в основном городское население потянулось на восток со своими пожитками, а молодёжь разбегалась по своим домам. Хотя отступать пока никто не собирался, население посёлка Новый, в своё время намыкалось по свету, и потому не торопилось бросать свои дома, а ведь беженцы говорили, что немцы угоняли в рабство только трудоспособных. Эти слухи, конечно, пугали, создавали панические настроения, отчего некоторые ретиво принимались рыть на своих подворьях бомбоубежища или углубляли свои погреба, а также прятали в землю зерно. Правда, находились и такие люди, которые ничего не запаховали и не прятали, полагая, что фронт пройдёт от посёлка в стороне, так как для врага он не представлял важного стратегического объекта. В колхозе, однако, уже почти не осталось ни коров, ни телят, ни овец, ни свиней, ни лошадей, ни птицы, поскольку в своём большинстве живность и скот были уже отправлены на восток. Роман Захарович дежурил в основном на току, но по просьбе председателя обходил и фермы, свинарник, птичник, конюшню, где осталось всего четыре пары лошадей да несколько свиней, коров, птиц исключительно для нужд колхоза, или просто не успели вывезти.

Из клуба, где гуляла молодёжь, как-то неуместно доносилась гармошка и песни девчат. Однако весёлые частушки девки выкрикивали довольно редко, да и то под настроение или подходящий случай...

Сразу после октябрьских праздников на фронт забрали Сергея Зуева, Никона Путилина, Василия Винокурова, Виктора Тенина, у которого остался в памяти трогательный роман с Аней Перцевой, и теперь она, тоскуя, сидела дома.

Нина Зябликова, видя, как девушка убивалась по Виктору, думала: вот если бы призвали Дрона, она бы так ни за что не плакала. С Дроном она встречалась ещё с меньшим желанием, чем с Алёшей. А когда летом встретила молодого политрука, который по воскресеньям в степи проводил с девушками и парнями военную подготовку, к Дрону она совсем остыла, так как неожиданно для себя полюбила военного, но чего, пока не знали ни подруги, ни Дрон. Его звали Дима, правда, он был уже женат; об этом она узнала случайно, когда самые бедовые Лиза Винокурова и Лида Емельянова выпытали у того его семейное положение...

Нина понимала, что полюбила Диму, похоже, безответно, да к тому же видела, что вовсе не она одна влюблена в военного, но и другие девушки, как из ихнего посёлка, так и городские, что было видно по их глазам: они высвечивали то волнение, то печаль, то задумчивость. А их ребята смотрели на политрука с явным вызовом и даже тайной ревностью, если не понимали душевное состояние девчат. Собственно, они исключительно инстинктивно видели в нём потенциального соперника и задавали тому откровенно дерзкие вопросы:

– Почему, товарищ политрук, вас на фронт не взяли? – спросил Жора Куравин, с усмешкой переглядываясь со своими друзьями.

– А кто вас будет обучать? Вот отзанимаемся и тогда на фронт попрошусь, – без обиняков ответил он.

– Да неужто сами хотите в пекло головой? – смеясь ехидно, переспросил Дрон.

– Как, разве, хлопцы, вам нравится видеть немца на родной земле? – он сурово, удивлённым взглядом оглядел ребят, и продолжал: – Нет, ребята, каждый мужчина, настоящий мужчина, понимает свой священный долг защитника, а вы это должны знать и всегда помнить, помнить всякую минуту и секунду...

– Правильно, я бы первая пошла! – воскликнула Маша Дмитрукова. – Но кто меня возьмёт, ведь в тылу тоже кому-то надо трудиться.

– Значит, так хочешь воевать! – отозвался Дрон. – Я, например, не рвусь, успею навоеваться, ещё долго будет эта мясорубка! – криво улыбаясь, продолжал он, дивясь своей смелости.

– Я скоро сам пойду, как мой отец! – вдруг вырвалось у Алёши несколько хвастливо, чему он не отдавал отчёта. Зато Дрон взглянул на своего недавнего соперника откровенно враждебно, говоря про себя: «Семя вражье, а туда же геройствовать!»

– Будто наши бати на курорт уехали? – раздражённо бросил он, и все в разной степени засмеялись, поддерживая презрительный настрой дружка. Другие молчали, напряжённо следя за военным, как он лукаво улыбался, переводя взгляд на каждого паренька.

Нина видела, как он дольше обычного смотрел на ребят, наверное, находя их для себя смешными, которые на словах герои, а на самом деле боятся идти на войну. Тут к нему подошёл его товарищ в такой же форме, и они, тихо переговариваясь, отошли в сторонку. А Нина вспомнила, как полчаса назад она с сожалением для себя отмечала, что он смотрел на неё не больше, чем на других девушек, хотя иногда казалось, будто при взгляде на неё он выражал на своём симпатичном и мужественном лице некоторое смятение...

Однако более всех возле него крутились Ольга и Арина Овечкины, Лиза Винокурова и Лида Емельянова, весело и не без озорства, они обращались к военному по всякому пустяку. Когда же он сказал, что уже подал прошение об отправке на фронт, Арина даже изобразила на лице деланный испуг:

– Товарищ политрук, нешто вам будет не жалко бросить нас?

– Если честно – жалко! С вами интересно, но для боевого командира – место на фронте, – ответил решительно он.

– А вы пишите нам! – подхватила Ольга почти серьёзно, на что он только снисходительно улыбнулся, переводя взгляд на Нину, которая очень смутилась, но в следующую секунду он уже смотрел на других девушек. Хотя сёстры Овечкины с неприязнью бросили на Нину взор,

высокомерно хмыкнув, глянув между тем на брата, стоявшего почти рядом с военным. Дрон явно испытывал к нему зависть, оглядывая его довольно придиристо, а в его колючих глазах теплился гнев оттого, что этот вояка строил из себя завязанного героя, ещё не нюхавшего, однако, пороха. Дрон всерьёз полагал, что этот Дима перед девками красовался ложной храбростью, ведь кому охота идти в погибельное пекло. Вот потому в тылу он и проводит время как может, а тем временем война закончится. А если занимается с ними, гражданскими, значит, на большее он вообще не способен, о чём после, когда ехали на грузовике домой, говорил вслух девушкам, чтобы образ «этого героя» рассыпался у них в сознании.

– А вы перед ним уши развесили! Он вам трепался, чтобы понравиться... – продолжал он.

– Ещё чего выдумашь, Дрон! – бросила Ольга. – Да мы над ним смеялись. А кое-кто тут сидит, и впрямь тогда во все щёки расцветала, – и она посмотрела на Нину, которая отвернулась от неё.

– Ты первая! – воскликнула Стеша. – Так и вертела перед ним своим подолом.

– Закройся, Стешка, на тебя-то он точно не смотрел, – защитила сестру Арина, и продолжала: – Он на Ксюшу пялился! – крикнула она, глянув на Гордея, взиравшего на Арину надменно, храня молчание. Правда, от глаз его проступила краснота, спускавшаяся почти к скулам, а желваки нервно вздувались, на носу выступили белые пятна, маленькие глаза посверкивали свирепой, и он весь, напряжённейший, казалось, кинется драться на Дрона, подбивавшего к спору девчат. Но и Гордей сам видел, как они с интересом, забыв о своих ребятах, таращили глаза на военных. Собственно, такие же мысли приходили почти всем парням, даже Денису Зябликову, у которого ещё не было девушки. Впрочем, втайне ему нравилась Анфиса, которая встречалась совсем недавно с Гришей. Как-то Нина брату призналась, что Анфиса из всех ребят выделила его за самостоятельность, способного к тому же совершать добрые поступки. Она имела в виду тот случай, когда с братьями помогал по хозяйству одинокой женщине, у которой на финской войне погибли три сына. Анфисе казалось, что Денис ласковый, внимательный парень. Какой бы нежностью он окружил полюбившуюся ему девушку!

Узнав от сестры мнение Анфисы о себе, Денис внешне отнёсся к её комплименту спокойно, хотя в душе был чрезвычайно польщён. Когда они ехали на занятия и с занятий и находились в степи на полигоне, Денис украдкой посматривал на Анфису, у которой были узковатые, продолговатые глаза неопределённого цвета. Она загадочно улыбалась Маше Дмитриковой и Ане Перцевой, одним из самых весёлых девушек, которые, как и она, с военными держались на расстоянии. Они обменивались ничего не значащими фразами, и когда смеялись, то казалось, словно вели потешный разговор. Анфиса иногда тоже смотрела на Дениса, при этом стараясь взглядом не показывать ему, что он интересовал её своим благородным обликом. Конечно, после того, как она неожиданно для себя отдалась Грише, ей было не всегда приятно смотреть на парней, ведь она полагала, что они догадывались о её якобы доступности. Но Анфиса знала, что это не так и вела себя достаточно уверенно, чем старалась всем давать понять, что грязные сплетни её почти не волнуют, если даже в чём-то они были правдивы. Впрочем, Анфиса надеялась: даже после того, что с ней произошло никто не должен усомниться в её порядочности, а то, что касается личной жизни, репутации честной девушки – это никого не касается. Вот и старалась быть непринуждённой, лишённой двусмысленного поведения. Хотя перед Танькой Рябининой она испытывала некоторое смущение, когда та любопытно смотрела на неё..

– Что же ты так смотришь на меня? – спросила Анфиса.

– Да так, разве нельзя, ведь ты у нас самая умная, живёшь – как играешь...

– Я же не артистка погорелого театра, – усмехнулась Анфиса.

– Зато с ходу берёшь быка за рога!

– Быков-то много, а своего не вижу. А кто же тебе не даёт?..

Но Танька Рябикина лишь засмеялась и, взмахнув рукой, побежала прочь. А девки вскоре тоже потеряли к Анфисе интерес, так как их больше всего занимали сообщения с фронтов, которые пятились, передвигались в глубь страны на всём её пространстве...

Глава 6

Восьмого октября 1941 года германские войска вступили на Донскую землю и повели наступление на Ростов. Немецкая авиация наносила бомбовые удары в основном по оборонительным заграждениям и баррикадам в бывшей столице Войска Донского Новочеркасске, в котором к тому времени уже было создано народное ополчение более чем из двух тысяч горожан, а на основе полка НКВД сплотили истребительный батальон...

Нет таких людей, которые бы не боялись войны, ведь всякая война несла в себе разрушения, смерть и голод. В посёлок Новый, ещё задолго до наступления немцев на этом направлении, почти каждый день приходили беженцы и, переночевав, они шли дальше. И все были убеждены, что оставаться здесь надолго им нельзя, так как скоро сюда придут немцы. Но сами жители посёлка ни Ульяна Половинкина, ни Анна Чесанова, ни Серафима Полосухина, ни Марфа Жернова, ни Павла Пирогова, ни Екатерина Зябликова и другие бабы, не собирались покидать свои дворы. Беженцы были в основном из числа городского населения, которые бросили почти всё своё имущество, своё жильё в украинских городах. Сельских же было меньшинство, да и те вышагивали по просёлкам налегке, распродают хозяйство, правда, некоторые уводили с собою даже коров. А когда убеждались, что с ними далеко не уйдут, сдавали мясокомбинату или продавали местным жителям. И потом вышагивали по просёлкам, или ехали на попутных грузовиках от одного населённого пункта до другого, тем самым создавая среди населения панические настроения. И всё-таки вслед за беженцами никто не срывался, и не потому, что фронт был ещё далеко, просто считали, что своё имущество наживали с большим трудом и распродают его некому, а оставлять врагу не хотели. Да и самих никто их не ждал, а вообще поселчане надеялись, что живут они в глуши и враг обойдёт их стороной. Бабы наговаривали Костылёву, дескать, напрасно разорили весь колхоз, ведь поголовье скота и другую живность растили ни один год, и всё нажитое тяжёлым трудом спустили в один миг. Сами жители на своих подворьях оставляли своих коров, свиней, овец, кур десятков-другой: остальных продавали. С каждым днём ощущалось неумолимое приближение фронта. Из колхоза эвакуировали последнюю технику: комбайны, трактора, грузовики. Для вспашки зяби оставили несколько пар быков, которых так и не успели извести, и однажды ночью над посёлком засвистели, завывали снаряды. А в городе были слышны взрывы, небо над ним озарилось светом пожарищ. Жители посёлка, боясь бомбёжек и артиллерийского огненного смерча, прятались в свои погреба, из которых не выходили, пока не утихала страшная, оглушительная канонада, и она продолжалась днём и ночью. Часто пролетали наши самолёты, которые почему-то назад не возвращались. А потом, казалось, надолго установилось затишье, и лишь где-то далеко-далеко слышался протяжный, ухающий орудийный гул. Ночью над городом и займищем были видны всполохи ракет. И как-то днём со стороны колхозного двора слышался шум тяжёлых грузовиков, также доносилась чужая речь.

Бомбёжки Новочеркаска продолжались и в последующие дни, но чаще бомбы падали на западный выезд из города, так как по новой ростовской дороге двигались отступающие части Красной армии. А старый ростовский шлях на подступах к городу ополченцы заминировали, так как на этом направлении ожидался танковый удар противника, который обошёл хорошо укреплённые позиции на северо-западном направлении. Несколько бомб разорвались на Крещенском спуске и недалеко от Александровского сада, где находилось тогда лётное училище. Но одной из главных стратегических мишеней немецких лётчиков являлся бетонный мост через реку Тузлов, так как по нему в сторону Ростова отступали разрозненные советские

войска. Из-за частых бомбёжек горожане организованно и стихийно покидали родной город, и за два с половиной месяца от ста тысяч населения осталось половина жителей.

Одно из подразделений Паровозостроительного завода ещё задолго до войны выпускало артиллеристские пушки, а по мере приближения фронта приступили к ремонту танков, тягачей, скоро наладили выпуск миномётов, скопированных с немецких. А завод горного оборудования наладил производство авиабомб, корпусов мин, и другого вооружения. Для народного ополчения ликёроводочный изготавлял зажигательные бутылки. Словом, вся тогдашняя промышленность работала в условиях приближающегося врага. Под эвакогоспитали оборудовали городскую больницу на улице Красноармейской, лучшие здания, а также институты и школы.

Когда 21 ноября 1941 года германские войска захватили Ростов-на-Дону, одно из подразделений противника направилось по старой ростовской дороге в Новочеркасск, полагая, что казачья столица ненавидела советскую власть и сдастся им без сопротивления. Но фашисты несколько просчитались, так как разведывательный отряд 51-го истребительного батальона возле хутора Большой Лог встретил танки и пехоту противника миномётным и артиллерийским огнём. Ополченцы потеряли несколько бойцов убитыми и ранеными, подбили один танк, уничтожили до десятка гитлеровцев. Оставшимся в живых бойцам пришлось уйти, чтобы предупредить своих, так как немцы больше не встречали на пути никакого сопротивления и двинулись дальше...

Большой отряд ополченцев 51-го истребительного батальона разделился на два: основные силы залегли у противотанкового рва на окраине города. Он соединялся с глубокой Грушевской балкой, которую немецкие танки не смогли преодолеть и там застряли, ведя лишь пушечный огонь. Однако вперёд выдвинулась их пехота, но ополченцы яростным огнём заставили гитлеровцев залечь. Тогда они снова двинули в бой танки и таким образом пять дней и ночей ополчение сдерживало натиск немцев: гранатами, зажигательными бутылками бросали по танкам, которые вынудили опять задним ходом уйти в укрытие. Дым, горевшей степи, застилал видимость местности. Тем не менее одной группе противника удалось прорваться к кирпичным заводам, но у первого противотанкового рва немцев встретил огнём небольшой отряд ополченцев, которому удавалось успешно отражать атаки врага...

Не в силах взять Новочеркасск с земли, гитлеровцы бомбили город авиацией, правда, только в местах скопления военных; особенно пострадали окраины и окрестности Сенного рынка, где погибли десятки мирных жителей. Небо над городом заволкло чёрным дымом, копотью и пылью. А в воздухе пахло сгоревшим порохом, пеплом многочисленных пожаров. 26 ноября на помощь ополченцам, сквозь немецкий кордон, прорвался кавалерийский корпус Кириченко, и враг был вынужден отступить. За время осады города оккупанты потеряли убитыми около сорока солдат, ополченцы взяли семерых в плен и уничтожили сто двадцать немецких диверсантов, среди которых были и те жители, которые ненавидели советскую власть и были готовы служить фашистам...

В ночь с 28 на 29 ноября 1941 года мощным контрударом советским войскам удалось освободить Ростов. И натиск фашистов на Новочеркасск заметно ослаб, но на отдельных участках бои за взятие города какое-то время ещё продолжались. Когда немцы были вынуждены отступить, в спешном порядке тысячи горожан из подростков и пожилых женщин и мужчин каждый день выходили копать окопы, строить блиндажи, доты и дзоты. Укрепление оборонительных рубежей вели на расстоянии от трёх и до десяти километров от города, причём оно не прекращалось даже тогда, когда наступил Новый 1942 год, и продолжалось в самые сильные морозы, круглые сутки, под частыми бомбёжками врага. Даже на городских улицах и площадях были вырыты противотанковые рвы, забетонированы металлические «ежи» и возведены баррикады. Все оборонительные сооружения растянулись вокруг города на десятки километров, то есть с севера от хутора Персиановка и на юг до хутора Александровка. Выходили на рытьё окопов и противотанковых рвов и жители посёлка Новый.

Первый раз немцы здесь стояли дней восемь, но потом неожиданно ушли, так как фашистов выбили из Ростова и отбросили на десятки километров. Когда немцы вошли в посёлок Новый, они было разместили в школе штаб; клуб и детсад определили под госпиталь и расквартировку офицерского состава. Солдаты и младшие офицеры рассредоточились по хатам: в каждой остановилось по несколько человек. Весь день и затем вечер, пока не стемнело, в посёлке не умолкала громкая немецкая речь; на местных жителей они пока не обращали внимания, будто их тут вовсе не было. Но, не успев даже по объявлению собрать жителей для установления немецкого порядка, через несколько дней в спешном порядке немцы покинули посёлок, а следом прошли воинские соединения наших войск...

С того раза несколько месяцев жители не видели военных ни тех, ни других; и уже летом, когда в колхозе велись уборочные работы, немцы вошли в посёлок без единого выстрела, так как его никто не оборонял, тогда как на подступах к Новочеркасску вновь завязались упорные бои ополченцев с наступающими фашистскими частями. Не зря жители города вместе с военными и ополченцами строили оборонительные рубежи вплоть до июля 1942 года, которые на этом участке Южного фронта помогли сдерживать наступление немцев. Но ненадолго, так как на подступах к городу против 347-ой и 31-ой стрелковых дивизий и 81-ой стрелковой бригады наступали с севера – 1-ая немецкая танковая армия, а с северо-востока накатывались подразделения 4-й танковой армии противника. Из самого города по врагу били «Катюши» 49-го гвардейского полка подполковника А.Н.Нестеренко. Его гвардейцы вели залповый огонь по врагу из нескольких центральных точек города. Им помогал удерживать натиск врага истребительный отряд И. Ф. Руденко; его миномёты были установлены в городском парке и прилегающих к нему скверах. Но даже общие усилия обороняющихся не смогли удержать наступление немцев. В Хотунке от всего боевого расчёта «Катюши» остались в живых водитель Г.Ф.Дедык и лейтенант А.И.Гавриленко; когда закончились боеприпасы, не желая попасть в плен, они подорвали себя вместе с установкой, чтобы не досталась врагу.

На двух направлениях – северо-западном и северо-восточном – на подступах к Новочеркасску, части Красной армии в кровопролитных боях несли большие потери. А так как враг во много раз превосходил ополчение и воинские подразделения в технике и живой силе, оборону города было вести уже бессмысленно. Измотанные остатки войск отступали; солдаты, оборванные, голодные, брели через город по проспекту Ермака, запрудив его весь. Некоторые жители, сочувствуя бойцам, выносили им кое-какие продукты. И пока военные двигались, несколько раз налетала вражеская авиация, сбрасывая на город тонны бомб, которые падали на жилые дома. Одна попала в Гостиный двор, и разнесла его так, что позже, когда останки разобрали, на его месте образовался пустырь. Ближе к вечеру, во избежание бомбардировок, движение воинских частей возобновилось. Среди горожан поднялась тревога, все чувствовали захват города врагом, но было немало и таких, которые с нетерпением ожидали оккупантов, чтобы избавили их от ненавистных Советов. Единственно, чего они опасались – это бомбёжек, которые продолжались почти до утра, и от них приходилось прятаться в подвалы. Враждебно настроенные жители проклинали красные части, так как были уверены, что город бомбили из-за них...

23 июля 1942 года немецкая танковая разведка с северо-запада вышла к Локомотивострою, и затем от Хотунки устремилась в Новочеркасск, сопровождая своё продвижение орудийными залпами по нашим отступающим войскам, которые, однако, оказывали упорное сопротивление. И продвижение немцев на несколько часов было приостановлено, что способствовало выводу последних войск из-под огня противника.

На следующий день в городе остался лишь истребительный батальон да две группы красноармейцев, которым было приказано сдерживать яростный натиск врага, прикрывая отход войск. Однако немецкие танки въехали на мост, сделали на ходу несколько выстрелов из пушек, поднялись на крутую гору, отсюда одни направились в сторону нового ростов-

ского шоссе, другие с Троицкой площади стреляли по проспекту Ермака, в конце которого путь им преграждали ежи и баррикады, которые стояли возле памятника покорителю Сибири. А на улице Народной, куда свернули танки и мотоциклисты, завязался бой с ополченцами и группой красноармейцев, которые оборонялись на баррикаде до последнего патрона. Из одиннадцати человек остался один политрук, ему удалось подбить танк и уничтожить несколько вражеских разведчиков. Но разорвавшийся неподалёку от баррикады снаряд сразил отважного политрука...

И в тот же день воинские части Красной армии уходили из города под прикрытием истребительного батальона, который отражал атаки врага на старой ростовской дороге. Ополченцы вели бой до вечера, а когда сгустились летние сумерки, опасаясь попасть в плен, они ушли. За оборону родного города из истребительного батальона, вместе с бойцами артдивизиона 56-й армии погибло немало жителей, в живых осталась только горстка бойцов. Артиллеристы, ведшие бой с товарной станции Цикуновка, подбили два немецких танка, которые очутились во рву за городской тюрьмой.

Новочеркасск был полностью захвачен немецкими оккупантами 25 июля 1942 года; в город вошли основные силы противника, которые с цветами, хлебом и солью встречало старое казачество. На улицах почему-то было брошено много вооружения, военной техники, и немало солдат и ополченцев попало в плен. «...На улицы города, как писал много лет спустя местный краевед Е. И. Кирсанов, вышли сотни людей, многие из которых в старой казацкой форме. Одних вывело на улицы любопытство, других – недовольство советской властью и идеологией коммунистов. Оккупанты во многом действительно рассчитывали на то, что новочеркасцы примут „освободителей“ от большевизма с распростёртыми руками, улыбками и цветами. На это немецкие власти настраивал бывший Атаман Всевеликого войска Донского генерал П.Н.Краснов. Впрочем, так оно и было, хотя и не столь масштабно, как он обещал».

В Новочеркасск немцы въехали на мотоциклах, танках, бронемашинах, которых встречали несколько сотен казаков и охотно угощали водкой и домашней закуской. Это говорило о том, насколько им был постыл установленный советский порядок, а немцы, по их представлениям, должны были вернуть тот быт, ту культуру, при которой они жили до установления советской власти. И по их просьбе через две недели со дня оккупации был открыт Войсковой собор, который заполнило лояльно относившееся к немцам казачество и простые горожане, соскучившиеся по церковной службе и песнопению...

В считанные дни немцы установили свой порядок, который должен был принести избавление от ненавистного большевизма. Одним из первых на сторону немцев перешёл Сергей Васильевич Павлов. По образованию он был военный, окончил кадетский корпус, кавалерийское военное училище. В звании штабс-капитана в гражданскую служил лётчиком-наблюдателем, поддерживал воздушную связь с восставшими в марте 1919 года казаками Верхне-Донского округа. В первую мировую войну за храбрость был награждён Георгиевским оружием, орденом с мечами св. Владимира.

Своим долгом новоявленный атаман предпочитал не отсиживаться в тылу, а сражаться с Красной армией, которая сдерживала яростный натиск фашистов, которые яростно рвались на юг, чтобы завладеть бакинской нефтью. Корпус Павлова с другими казацкими частями под командованием генерала Петра Краснова вскоре сражался на южном фронте... Когда немцы захватили Ростов, по распоряжению генерала Краснова местные казаки вскоре приступили к формированию своей дивизии.

Городская Управа призвала на службу высокородное казачество: были открыты полицейские участки, избраны атаманы и станичные и хуторские казацкие правления; даже наладили выпуск газет, торговлю; были пущены в оборот немецкие марки, которые обменивались на рубли и даже появились золотые, ещё николаевской поры, червонцы. Немцы также пыта-

лись наладить снабжение города водой, электричеством, так как перед вступлением в город оккупантов подпольщики вывели из строя электроподстанцию и водовод...

В станице Новочеркасской атаманом был избран А. И. Кундрюцков, в хуторе Татарка – П. Ф. Письменсков. Германское командование распространило прокламации, в которых говорилось: «За смерть немецкого солдата будут расстреливать до десяти человек, за убийство офицера – полсотни».

В августе 1942 года был торжественно открыт Атаманский Дворец и Вознесенский кафедральный собор, с которого в 1934 году содрали позолоченную медь, мастера своего дела восстановили утраченные ценности, и собор стал принимать прихожан. За годы советской власти в городе было разрушено и закрыто десятки церквей, храмов, на городском кладбище только и служила прихожанам Свято-Дмитриевская церковь. Немецкое командование открыло все сохранившиеся соборы и церкви. Верующим горожанам, разумеется, это понравилось, немцы сумели сыграть на православных чувствах даже тех, кто при советской власти «отказались» от веры не по убеждению, а из-за страха подвергнуться гонениям властей. Горожане, отвыкшие от казачьей формы, почувствовали уверенность, много было таких, которые поверили в то, что советская власть пала навсегда, при которой им приходилось скрывать свои настоящие воззрения. И особенно те, кто пережил обиды, унижения, стали выдавать немецким властям коммунистов, и всех тех, кто поддерживал советскую власть. Они подсказывали немецкому начальству, как заставить прийти в комендатуру затаившихся коммунистов, евреев, дескать, ничего плохого им не сделают, а только поговорят. В этом больше всех усердствовали старые казаки, не считая это за предательство. А вот бывший войсковой старшина С.В.Павлов, который на паровозостроительном заводе работал в отделе капитального строительства инженером-конструктором, когда уже нельзя было сомневаться в неминуемом крахе белого движения, под конец Гражданской войны дезертировал. Но Павлов не только из-за этого не эмигрировал, считается, что сделал он это добровольно, то есть дезертировал, чтобы вести подпольную антибольшевистскую деятельность...

С приходом немцев, его сподвижники, однако, выдавали коммунистов, евреев, которые по вызову пришли в комендатуру и вскоре были расстреляны, в чём он не принимал личного участия, так как предпочитал сражаться с большевиками в священном бою, а не стрелять в затылок. Немецкое командование вряд ли бы поверило ему, если бы не поручительство самого П.Н.Краснова, который предложил немцам, чтобы казачество избрало его своим Походным Атаманом, а он соберёт под казачьи знамёна верных сынов Дона, чтобы создать боевые части для использования их в своих военных целях. В свой боевой корпус Павлов принимал исключительно потомственных казаков, выходцев с Дона.

В ноябре 1942 года он созвал в Новочеркасске совет Атаманов и провозгласил второй после гражданской казачий Сполух, которым призвал вступить в священную войну против большевиков и тогда же Павлова избрали Походным Атаманом и произвели в полковники...

Однако не всё казачество его поддерживало, считая Павлова самозванцем, так как старые казаки признавали своим единственным атаманом только генерала П.Н.Краснова, который осенью 1942 года обещал приехать в Новочеркасск. Причём их даже не убедило и то, что сам Пётр Николаевич предложил ему возглавить борьбу казачества против большевиков... Некоторых историков не убеждает и такая версия, что Павлов, как было сказано выше, мог специально не эмигрировать, а остаться на родине, чтобы вести подпольную агитацию против советской власти.

Когда в назначенный день из Ростова прибыл поезд, из вагона в сопровождении белоказачьих офицеров вышел вовсе не генерал П.Н.Краснов, которого ожидали все, а его племянник полковник С.Н.Краснов. В это время на Крещенском спуске для встречи бывшего белогвардейского генерала выстроились конные вооружённые казаки, и вдруг в небе появился советский самолёт. Видно, подпольщики о его приезде сообщили партизанскому штабу. Однако

генерал Краснов, словно предчувствуя со стороны большевиков подобный подвох, вместо себя прислал своего племянника и приближённых. Павлов с атаманом Кундрюцковым спешили и пошли навстречу гостям и его свите, поглядывая с опаской в небо, так как советский самолёт не улетел, а стал кружиться над казаками. Походный Атаман вскинул голову к небу.

– Видали, в нашей столице орудуют партизаны! – крикнул Сергей Васильевич. – Наш долг очиститься от большевистской заразы. Я слышал, что немало их и в рядах казаков, как в Гражданскую: отец за белых, а сын за красных. Если кто будет укрывать своих отпрысков, застрелю первый! А теперь разойдись, и подумайте, на что я вас наставил...

Вскоре площадь опустела. Павлов скакал вместе со станичным атаманом Кундрюцковым и посланцами Краснова – С. Н. Красновым, А. И. Сюсюкиным и П. М. Духопельниковым.

Некоторые казаки это расценили как пощёчину старого генерала. На сей счёт Павлов, чувствуя симпатию старых казаков к Краснову, позже, не в присутствии его посланцев, даже позлорадствовал:

– Вы его ждали, а он вам кукиш показал! Ничего, бравые головушки, со мной повоюете. Будем давить советов, как мух! – он вытанцовывал на коне донской породы перед неровным строем конных казаков, и кривил ехидно губы, чувствуя между тем недоверие казаков. Некоторые работали вместе с ним на заводе и знали его как неприметного, молчаливого, неразговорчивого. Сергей Васильевич тогда мог только поговорить о работе; он отличался пытливым, сообразительным умом. Походный Атаман был выше среднего роста, слегка сутулился, обладал чувством юмора, среди своих знакомых едко острил...

Но никто бы не подумал, что этот, на вид простоватый, не очень молодой человек, на самом деле был тайным врагом советской власти. Окончил Донской институт, стал инженером, работал под чужой фамилией на заводе. В 1921 году красные расстреляли его отца, который служил войсковым старшиной Войска Донского.

Ещё до прихода немцев Павлов примечал тех людей, которые были ему нужны. Одним из них Адмираловым, когда началась война, он встречался в Ростове, а с приходом немцев, тот организовал освободительное движение казаков и возглавил Ростовский казачий Штаб. И за чаркой водки или самогона беседовали о неизбежном крахе советов, что немцы на этот раз не упустят свой шанс для покорения славянских народов. Но Сергей Васильевич был против их планов и преследовал сугубо личную цель. Он лишь отчасти разделял стремление бывшего Донского Атамана генерала П. Н. Краснова, который с помощью немцев рассчитывал свергнуть большевиков и создать Донскую республику. Павлов же считал, если бы в 1444 году впервые донские казаки не пошли на службу к Великим московским князьям, то основали бы свою государственность и остались бы самостоятельной грозной силой и смогли бы защитить в 1918 году Дон от нашествия красных. Для этой цели он и стал собирать под знамя Войска Донского конный казачий корпус. Но исполнить задуманное он мог только сообща с Красновым, который возглавлял у немцев Главное управление соединённого казачества Дона, Кубани и Терека...

Краснов, прислал в помощь Павлову своих приближённых, верных казачьему делу людей. До войны Сюсюкин работал в областном земельном управлении писарем, а П. М. Духопельников – в Новочеркасске на машиностроительном заводе бухгалтером, затем при райисполкоме заведующим торговым отделом. Обоих Павлов встретил с некоторой ревностью, так как считал, что генерал Краснов не до конца, выходит, ему доверял. Но это было не так, именно немецким капитаном управления имперской безопасности Р. Кубошем было им поручено созвать казачий сход для избрания Походного Атамана, которым суждено было стать, как сказано выше, Сергею Васильевичу Павлову. А племянник Краснова этот факт только засвидетельствовал, с чем и отбыл восвояси...

Надо сказать, распоряжения Павлова хуторские и станичные атаманы не все выполняли, так как проводили самостоятельные контрмеры против большевиков. Да и сам Походный Атаман находился на фронте, участвуя в боях совместно с немцами, правда, при этом он старался

придерживаться своей тактики, чтобы своими силами воевать против большевиков, чем давал понять немцам, что он ведёт свою освободительную войну...

В бывшей казачьей столице Старочеркасской 1 октября 1942 года по местному обычаю проводился праздник Войска Донского, в честь которого в старом Воскресенском соборе прошло богослужение. И затем походным маршем казаки отправились помянуть в Монастырском Яру, павших казаков в 1641 году во время Азовского сидения. К началу торжества на двух машинах подъехали комендант Ростова генерал Киттель и военный комендант Новочеркасска полковник фон Левених и возложили к памятнику два больших венка. На казаков, построенных по такому случаю, это событие произвело огромное впечатление, ведь советская власть не проводила подобных мероприятий в память о погибших. Казаки и казачья молодёжь, преисполнившись благодарностью, боевым порядком прошли перед устроителями торжества: Походным Атаманом Павловым, генералом Киттелем и полковником фон Левенихом. В станице Старочеркасской в честь праздника был дан поминальный обед, после чего казаки вернулись в Новочеркасску.

В дни оккупации казачьи отряды вместе с немцами выявляли партизан, подпольщиков и тех, кто не выносил немецкие порядки. Независимо от корпуса Павлова, те казаки, которые не признавали его власть из-за того, что он служил, по их мнению, немцам, объединялись в отряды и вступали в бой с отступавшими частями Красной армии, нападали на сельсоветы и колхозные конторы. Павлову потребовались воины, он поместил в газете объявление, в котором говорилось о мобилизации казаков, а для сбора средств на свержение большевиков отправил в отдалённые станицы своих эмиссаров. Однако самостоятельность Походного Атамана немцам пришлось не по вкусу и на этой почве возникали недоразумения, а то и сопротивление новоявленным хозяевам. Без разрешения германских властей Павлову не позволялось владеть любым имуществом и оружием, из-за этого возникали даже конфликты. Когда коменданту, полковнику фон Левениху, доложили, что Павлов собрал внушительный отряд и вооружил его, он срочно приехал на Московскую, где размещались казармы казаков и велел предъявить разрешение. Но такового у того не оказалось, и комендант приказал разоружить казаков. Сергей Васильевич решительно вышел из строя и сказал:

– Полковник, вы ведёте себя как пособник большевиков, поэтому мы рассматриваем сей факт как предательство наших общих интересов. Хотя у нас имеются свои претензии к советам, и мы намерены с ними сражаться...

С комендантом Левенихом, которому часто приходилось выступать перед горожанами, ездила по городу переводчица, бывшая учительница немецкого языка, которой Павлов велел перевести его объяснение ситуации. Но Левених поднял кверху руку в чёрной перчатке и заговорил на ломанном русском:

– О, я карошо понимаю тебя, Сергей Васильевич. Ты смелый атамань, ми в тебе не ошиблись. Но мне говорят, чтё ты атамана Краснова, как этё мягко сказала, не любишь...

– А зачем мне его любить, он же не женщина? – в казарме раздался дружный смех. А Павлов продолжал: – У нас с генералом Красновым ещё с гражданской давние счёты. Если бы они тогда относились добрее к населению и не вытаскивали часто шомпола, то красные не смогли бы нас победить и солдаты не перебежали к ним батареями, ротами, полками. Вот и вам бы я советовал не драться с крестьян три шкуры. Вы понимаете, что такое сдать в день тридцать литров молока, а по станицам и того больше? Я такой приказ не могу полностью выполнять, а станичные атаманы, прислуживая вам, самовольничают. Вы насадили крепостной строй, а вольным казачкам, у которых малые дети, это претит.

– Чтё ты болтаешь, Сергей Васильевич, ми саботаж ваш не потерпим, наш армия и госпиталь должна быть снабжена продовольствием. И не смущай своих казачек. Ми и так с ними мирно живём... Вот фрау Елень, – указал он на переводчицу, – подтверждать умей...

Павлов презрительно скривил голову и как-то недобро посмотрел на женщину, которая смутилась и что-то по немецки сказала коменданту.

– Ми для населений в хуторах и станицах открыли медицинский снабжений, мне подсказывает фрау Елень. А ти больша не говори, чьтё ми к населений плёхо относимся. А васи докторя под начальиём Синибрюхина открыль частный клиник для киндер врача и геникологая.

С этими словами полковник фон Левених, отдав честь, удалился из расположения казаков, некоторым из которых приходилось охранять военнопленных недалеко от мясокомбината и на пустырях, обнесённых забором и колючей проволокой. Казаки пытались уговаривать военнопленных перейти на их сторону, чтобы их не угнали в Германию. Немцы отбирали наиболее выносливых, отдавали своим врачам на медосмотр, а потом самых здоровых переводили в другое место, где подготавливали усиленным питанием для отправки. Однако немногие поддавались уговорам казаков, полагая, что против них таким образом готовили какую-то провокацию...

Из города Павлов со своими отрядами уходил на боевые задания в основном по ночам, так как боялся, что подпольщики, с которыми они вели непримиримую борьбу, могли передать красным об их расположении...

Но скоро Павлов понял, что немцы ему не доверяют. Да и некоторые свои казаки ведут не к единению всех казачьих сил, а к раздроблению. Он договорился с полицаями их хутора Татарка о проведении тайного совещания казачьих атаманов и пригласил на него П.Ф.Письменскова, А. И. Кундрюцкова, полковника Т.К.Хоруженко, а также своих помощников А.И.Сюсюкина, П. М. Духопельникова. Несколько хуторских и станичных атаманов, которые действовали на свой страх и риск и не подчинялись Павлову, не приехали, в частности старшина Греков, есаул Т. И. Доманов...

Перед тем, как привести высоких гостей, полицай Иннокентий Свербилин пришёл к известной в хуторе скарёдной казачке Фелицате, которая после смерти мужа жила одна и мало с кем из хуторских контактировала. И вот ей накануне Кеша сказал:

– Фелица, ты мне сготовь снеди человек на десять и чтобы никто не узнал. Ты поняла, что сгутарил?

– Дак чего тут непонятного. И что они у меня будут делать, эти важные шишки?

– Ты давай мне без разговоров, выполняй, что тебе велено! Завтра приду вечером не один, а сама, как я посмотрю на тебя, чтоб мигом слиняла.

– А чего ты меня выгоняешь, Кешка, я же со своими невестками не в ладу, а чи не знаешь?

– Мне это без разницы. Иди к моей, да обскажи ей, где у тебя спрятаны все сокровища. Знаю, достались от твоего не хуже тебя скупердяя-муженька. Золото, учти, нужно на общее дело против большевиков...

– И кто ж тебе такую ахиною сплёл, да ничего у меня нема. А еды наготовлю, как сказал.

– Вот-вот, ладно, мне сейчас некогда о твоём схороне балакать. Смотри, в другой раз душу выну, ежели не покажешь! – и с этими грозными словами Кеша исчез.

Фелица всплакнула и решила подальше схоронить то, что у неё действительно осталось не только от мужа, но и от своих...

На следующий день она исполнила поручение полицая, наготовила закуски холодной и горячей. К приходу гостей выставила всё на стол и стала ждать. Стук раздался в окно, Фелица побежала открывать дверь: в сени следом за Кешей вошли сначала два человека, потом ещё несколько. Полицай полыхнул глазами на хозяйку и та быстро оделась и тенью выскочила из своей хаты. Кеша чинно провёл гостей в светлую горницу, где горела керосиновая лампа прямо над столом.

– О, снесь с парком и холодная! – воскликнул Походный Атаман Павлов. – Господа, не будем церемониться, приглашаю к столу!

Кеша посмотрел, как чинно рассаживались гости и немного подождал: а вдруг его соизволят пригласить? Но тут он увидел, как полный офицер в немецкой форме посмотрел пылливо на него и сказал снисходительно:

– Голубчик, оставь нас, ступай себе, – он сделал этот жест рукой и Кеша скоро удалился. Письменсков отправился закрыть за ним дверь. Когда он вернулся, Павлов было встал:

– Не церемоньтесь, Сергей Васильевич, – произнёс Духопельников. – Давайте без повестки и сразу к делу. Что вас заставило нас собрать?

– Мне жаль, приехали не все, кого мы приглашали, – начал не вставая с места Павлов. – Не знаю, как кого, но меня волнует разброд в наших рядах. Кому-то, видно, интересно заигрывать с немцами даже после того, как мы объявили против большевиков второй казачий Сполох. Некоторые атаманы предпочитают не подчиняться Главному штабу. Полковник И. Н. Кононов со своим конным корпусом ведёт бои с красными частями в районе Ростова и Таганрога. Кононов был майором Красной армии, командовал стрелковым полком 155-й дивизии. В августе этого года он со своими бойцами на Белорусском направлении сдался в плен, и причём, говорят, сделал это с зажжёнными свечами, чтобы перейти на сторону немцев. Он героически проявил себя в боях в составе немецких войск и ему было поручено создать эскадрон. Его пример – как надо действовать – для нас весьма поучителен. Мы должны помнить, что сражаемся в рядах немцев с большевиками за освобождение Дона и всей России. А для этого нам необходима самостоятельная борьба. Моя личная цель – проникнуть в тыл Красной армии, поднять там восстание, где, я уверен, все по горло сыты большевиками. Хотя мне горько воевать с собственным народом...

– А вас никто не заставляет, – перебил Духопельников, который взял вилку и накалывал солёные грибки и спокойно ел, пока говорил Павлов.

– Что вы имеете в виду, Платон Михайлович? – слегка раздражаясь, спросил Павлов.

– Я сказал, с народом не воюйте. Но этот народ в свой час вас первого поставит к стенке?

– Вы не верите в дело освобождения Донщины от большевиков и установления Донской республики?

– Я для этого и уполномочен генералом Красновым наладить наше общее дело.

– Ну так налаживайте и меньше разъезжайте с немецкими офицерами по городу, – вспыллил Сергей Васильевич. – Между прочим, слух дошёл, как вы сами к нему в Берлин пожаловали...

– Вы, которого я назначил Походным Атаманом, меня в праздности обвиняете? Я первый на Дону поднял казаков и за этим поехал к Краснову! – вскочил с места Духопельников. – А ну, Тимофей Константинович, – обратился он к Хоруженко, – объясните Павлову, кто вам помогал создать казачий полк?

– Позвольте, господа, не нужно спорить по мелочам, – заговорил примирительно Хоруженко. – Платон Михайлович написал лично объявление в газету о принятии на службу казаков и они охотно откликнулись...

– Хорошо, я это тоже сделал, тогда, господа, слушайте мои команды, но не Абвера. Почему вы должны выполнять их приказы, а не наши? Я хорошо вижу, что происходит в казачьем движении, кто-то сознательно против меня настраивает казаков... Кстати, моё доверие вам неограничено. Единственно в ком я не сомневаюсь – это начальнику ростовского Штаба господину Адмиралову. Если бы между нами, как с ним, установилось такое же тесное взаимопонимание, мы бы достигли такой сплочённости в освободительном движении, что теперь обошлись бы без этого совещания...

– Ох, и горячая у вас голова, Сергей Васильевич, мы избрали вас Походным Атаманом, а вы хотите играть в казаков разбойников? Кто вам даст поперёк немецкого командования? – сказал Духопельников.

– Кстати, вы в городе не можете справиться с партизанами и подпольщиками, – вставил Сюсюкин, – а хотите управлять фронтом. Может, вы с помощью подпольщиков решаете задачи борьбы с немцами за то, что они не дают вам развернуться?

– Ну какую чушь вы несёте?! – возмутился Павлов. – Я бы давно навёл в городе порядок, но отнимать «хлеб» у гестапо не рискну. Моё дело на фронте. В городе почти всё население с нами, отдельных красных выкормышей не считаю. Скоро с ними покончим! Моя задача, как уже говорил, – агитация красных солдат против своих командиров, вселить в народ антибольшевистский дух и поднять восстание! – при этих словах у Павлова вспыхнули глаза и он возбуждённо продолжал: – Вот Кундрюцков хорошо справляется со своими обязанностями по обезвреживанию партизан. Недавно раскрыл группу подпольщиков во главе с Кривопустенко, с которым мне до войны приходилось встречаться. Фанатик большевизма взорвал мясокомбинат, поджёг электроподстанцию. Семернин с группой удрал из города...

– Да, мы его поймали, когда он пытался поджечь на Московской нашу казарму. Мы подослали к нему пацанов под видом подпольщиков. Вот они и привели его к нам, а мы были в роли партизан, – подтвердил Кундрюцков. – Кстати, если бы не мы, гестапо вряд ли бы имело такой успех, какой мы обеспечили ему...

– Я понимаю, то, о чём вы говорите, вовсе не мелочи, но для меня и моих соратников по борьбе с большевиками главное – объединение всех казачьих сил! Возникают стихийные отряды казаков и вместо того, чтобы идти на фронт, они убивают в хуторах и станицах сельских активистов, причём не хотят подчиняться нам, срывают приказы. Таких надо расстреливать, как дезертиров. Доманов, этот вельможа, не приехал, он только и присылает вестовых с отчётами, но приказы не выполняет и сам не приезжает. Платон Михайлович, вы можете объяснить, почему так происходит? Неужели это следствие того, что казаки за два десятилетия утратили боевую выучку и боевой дух?

– Это правда, Сергей Васильевич! Я направил депешу Петру Николаевичу в Берлин о том, чтобы нам прислали белоказачьих офицеров из Франции. Командиров нам не хватает, но и некоторым атаманам надо поглядеть на себя со стороны, – сказал Духопельников.

– Кого вы конкретно имеете в виду? – строго спросил Павлов.

– Станичных и хуторских атаманов: сидят и не вылезают. Вы-то, говорят, храбрый, смелый, но вам не хватает авторитета у казаков. И знаете почему?

– Объясните?

– Вас многие хорошо знают, как вы двадцать лет искусно жили и работали при большевиках. А, между прочим, это не каждому удавалось, в то время многие были разоблачены и расстреляны. А вы даже учились в институте, работали конструктором, у некоторых обоснованно возникает подозрение: как вам удалось сохранить себя? А если подозревают, значит, не хотят вам подчиняться самостийно организованные казаки, которые, потому и ведут так, что, должно быть, вас знают лучше, чем мы...

– Платон Михайлович, вы не гадайте на кофейной гуще, вы нарочно подрываете мой авторитет и хотите поставить на моё место того, кто даже меня в глаза не видел! Вы же знаете, мои казаки видели меня в боях. И слова не скажут плохого. А сила лживых слухов в том, что они дискредитируют меня, казакам навязывают такой образ, который не соответствует действительности. Я хотел бы соединиться с Кононовым, и не раз говорил немецкому командованию, что это объединение пошло бы всем на пользу. Но они видят в этом для себя опасность, будто казаки повернут против них. Какая бы создалась стратегически мощная казачья группировка, если бы в одну армию слились кубанские, терские и донские казаки...

– Ну вы романтик, Сергей Васильевич! – сказал Духопельников. – Кто же вам позволит слить воедино все казачьи войска?! – и он злобно усмехнулся.

– Господа, ужин остыл, – сказал Сюсюкин. – Платон Михайлович уже снял пробу с грибов, а теперь и нам пора приспела.

– Да, верно, приступим, господа, а то нашему разговору сегодня не будет конца, – поддержал Духопельников.

– К сожалению, наша встреча – как холостой выстрел...

– Ничего, Сергей Васильевич, не думайте, что вы один патриот Дона! – сказал Хоруженко.

– Учтите, я не никакой там выскочка, и вам не советую так думать, уж себе я знаю цену! – и Походный Атаман склонился перед тарелкой, приступив к трапезе. Хоруженко не ответил, а лишь качнул головой.

– А что касается вас Сюсикин и Духопельников, мы помним, как служили на НКВД, – как бы от нечего делать проговорил Павлов, глядя по очереди на тех исподлобья. – И сейчас, между прочим, идёте вразрез нашим общим планам борьбы с большевиками...

– Ох, не заговаривайтесь, Сергей Васильевич, – ответил Духопельников. – Если бы я действительно служил большевикам, то сейчас вас тут бы не было! – жёстко проговорил Платон Михайлович и едко усмехнулся.

– Полно те вам, господа, – сказал Хоруженко, – лучше не упоминать то, как нам не просто жилось в тех условиях, о которых мы должны помнить, когда будем громить советы...

После выпитого и съеденного ужина, руководители второго казачьего сполоха не поддержали единодушно Походного Атамана Павлова в том, чтобы заявить сообща немецкому командованию о своей стратегии объединения для борьбы с большевистским режимом всех казачьих сил юга России. Но в силу обстоятельств почему-то пасовали, и надеялись исключительно на поддержку немецкой армии, в мощь оружия которой казаки тогда ещё непоколебимо верили...

Однако разобщение казачьих освободительных сил углублялось, Павлов относил это на то, что Сюсюкин и Духопельников сознательно вели свою подрывную деятельность в пользу большевиков. И подозревал, как бы они действительно не были внедрены чекистами для этого. А чтобы покончить с ними, Походный Атаман доложил о их прошлом агентов НКВД немецкому коменданту Новочеркасска полковнику фон Левениху. Однако тот, подумав, ответил:

– И ви, Походний Атамань, не можете сами с ними разобраться. Это не наше дело, а ваше, казачье, Сергей Васильевич. Ви хотыте с помощью гестапо решать своя проблема? О нет, флаг вам в руки, так у вась говорят?

– Может, вы и правы, господин полковник. Мы так и поступим.

– О, я, я! Они намь вреда не делай, а вам делай, и вы их пуф-пуф! – комендант засмеялся. Походный Атаман козырнул и ушёл от него посрамлённым. Оставалось найти убедительный повод, чтобы раз и навсегда избавиться от Сюсюкина и Духопельникова. Но тогда Павлов этого не смог сделать, в силу того, что те умели манипулировать и его помощники оставались при Войсковом Штабе. Правда, в своей пагубной для всего казачьего освободительного движения они, точно по команде, несколько присмирели. Да и наблюдать за ними Павлов не мог, так как со своим полком и адъютантом Плотниковым постоянно находился на передовой...

Глава 7

К моменту второй оккупации жители посёлка Новый работали на полях и своих огородах; пасли коров, ждали вестей с фронта от своих сыновей, мужей, дедов. Такая жизнь продолжалась осенью и в первую донельзя лютую военную зиму, которая прошла в невероятно тяжёлых условиях, так как не всем хватило угля из-за того, что на складах станции Хотунок все запасы были израсходованы. Кому-то удалось привезти дров, но большинство было вынуждено опять, как в первые годы строительства посёлка, завозить на растопку прошлогоднюю солому, по балкам заготавливать хворост, рубить кустарники и деревья. Всем не хватало продовольствия, так как в засушливое лето плохо уродились картошка, помидоры, огурцы, капу-

ста. И вот снова пришла заботная весна. Надо было заняться севом; война, слава богу, где-то забуксовала; с прошлогодней осени немцы больше не возвращались. И только не успели заняться уборкой урожая, как со стороны города к подворью Зябликовых подъехал небольшой фургон, из которого прыгнули двое средних лет немцев со своим нехитрым походным снаряжением и затем грузовик поехал дальше. И до самого позднего вечера большие лобастые немецкие грузовики с пятнистым окрасом в болотный цвет по кабинам, капотам, с брезентовыми пологам, делавшими грузовики фургонами, тащившими за собой гаубицы, пушки, зенитные установки, въезжали в посёлок по обе стороны улицы, разделённой глубокой балкой. Из них выпрыгивали солдаты с короткими автоматами, с касками на боку, сапёрными лопатами и другим снаряжением. Почти с ходу они приступили к окапыванию орудий над балкой и на поляне вблизи клуба и школы.

Спустя некоторое время въезжала тяжёлая техника: бронетранспортёры, бронированные фургоны с плоскими кабинами, с установленными на них крупнокалиберными пулемётами с поднятыми в небо стволами.

Екатерина Власьевна в это время с дочерью Ниной и сыновьями Борей, Витей и Денисом находилась в хате. Больше всего Екатерина боялась за дочь, которая испытывала ознобную взволнованность, отчего по щекам проступали красные пятна, и она выглядела ещё краше. Спрятать дочь было негде, а в сыром, холодном погребе долго не высидишь, да и немцы, как только вошли во двор, стали осматривать курник, сарай, погреб, летнюю кухню. Сыновья сидели молча, глядя напряжённо на входную дверь из коридора, где стоял ларь для зерна, а в том, что поменьше, была мука. Екатерина слышала, как немцы поднимали крышки и тихо переговаривались, светя там карманными фонариками, хотя было ещё не совсем темно.

И вот отворилась дверь, немцы входили пригнувшись, так как были высокого роста. За порогом, по эту сторону, уже в горнице, освещённой керосиновой лампой, солдаты остановились, разглядывая немолодую хозяйку, стоявшую возле стола и пацанов мал-мала меньше. Ещё до их прихода мать велела Нине уйти в другую горницу и надеть из одежды что-либо похуже. В хате были земляные полы, устланные домоткаными дорожками. И всё убранство было самое простое, говорившее о большой нужде русской семьи. Солдаты какое-то время обводили весёлыми глазами горницу, и Екатерина тотчас почувствовала в душе облегчение, так как настроение немцев пока ничего не сулило страшного, выглядели они вполне миролюбивыми и благодушными, казалось, они были вовсе не завоевателями, а совершали дружественный визит. Немцы стали переговариваться, один, что был пошире в плечах, закачал головой, со значением, что хата для большой семьи была очень маленькая. Он пошёл по горнице, остановился у проёма дверей, ведущих во вторую горницу, порог которой не переступал, а только осторожно заглянул, словно там его подстерегала некая опасность. Но тут лицо немца приняло удивлённо весёлый вид, а Екатерина, когда он туда направился, напряглась от волнения. Проклятый немец увидел дочь, при виде которой он возбуждённо залопотал, видно, подзывая своего товарища. Пока он подходил, первый немец вошёл в горницу, где в самом углу между кроватью и перегородкой, стояла Нина, сжавшись от страха почти в комок. Вторым немец решительно вступил в комнату, и они стали подзывать девушку к себе, наперебой лопоча по-своему, доставая из карманов плитки шоколада и протягивая Нине. Но она так была напугана вторгшимися немцами, что ещё сильнее вжималась в угол, не ожидая ничего хорошего от их угощения, ведь за этим могло последовать всё, что угодно. На ней была тёмная старая юбка и кофточка.

Екатерина почти тут же пришла дочери на выручку, начав им объяснять, что им пора с дороги отдохнуть и перекусить.

– О, я-я, карошэ, матка! – воскликнул тот, что был повыше и худей.

– Ти, матка, давай, яйко, млёко, битте! – подхватил второй, показывая плитки шоколада, дескать, они пришли не грабить, а мирно жить.

Немцы пришли в такой восторг от гостеприимства хозяйки, что продолжали лопотать своё и даже восхваляли её. Но Екатерина только кивала им, принесла то, что они просили и для себя уяснила одно: солдаты встают к ним на постой, что те незамедлительно подтвердили; язык жестов понятен людям всех национальностей. Немецкие солдаты стали размещаться. В обмен на продукты охотно угощали детей шоколадом. Они заняли большую горницу, что делали уже не первый раз, когда на чужой земле занимали сёла и города.

Воинское подразделение, вошедшее в посёлок Новый, состояло из интендантских солдат и офицеров. По своему назначению это была обычная воинская часть, которая не вела боевые действия с регулярными частями Красной армии, а занималась обмундированием и сбором в тылу провианта для своей армии. С мирным населением командование немецкого подразделения старалось поддерживать хорошие отношения, так как в их обязанность вовсе не входили какие-то карательные меры против людей чужой страны.

Немецких солдат, остановившихся у Зябликовых, одного звали Гансом, второго Куртом.

Екатерина велела Нине подоить корову, Денису наказала не отходить от сестры; а сама взялась растапливать печь дровами. Впереди была ещё вся зима. Поэтому уголь она приберегала. В этот раз угля выдали мало, потому сыновья каждый день с другими мальчишками отправлялись заготавливать по балкам на растопку хворост, бурьян, кустарник. Летом Екатерина с Фёдором и детьми наделали из коровьего навоза кизяков, которые шли зимой на топку печи. Жар кизяков также использовали для выпечки хлеба.

Корова пока доилась. В те времена ещё со времён нэпа был введён с учётом местных климатических условий продналог. Какое-то время в посёлке он не действовал, так как не было коров, подсобного хозяйства, личных огородов. Но с 1935 года, когда колхоз выделил по тёлке и стали нарезать землю, сельсовет вменил жителям сдавать государству по установленной норме молоко, мясо, картофель. Каждую неделю, идя на работу, колхозники несли на ферму по три литра молока. Каждый месяц сдавали по десятку яиц, по три килограммов куриного мяса, а то и говядины, свинины, осенью должны были сдать десять килограммов подсолнечного масла, пять центнеров картофеля. Это был обязательный продовольственный налог. Но картофель в этих краях даже на двадцати пяти сотках не мог уродиться столько каждый год. А уж о подсолнечном масле нечего было говорить, так как весь огород занимали картошка, другие овощи, кукуруза, а на подсолнечник не хватало земли. Но если сельсовет всё-таки настаивал сдавать, то далеко не каждая семья могла прокормиться до следующего урожая...

Однако на этот счёт немцы пока не тревожили жителей, так как переночевав, рано утром они уезжали и могли не появляться по неделе, иногда и больше. Так подошла осень. Потом они снова объявились и уже надолго не уезжали, чем только огорчали поселян...

Теперь, когда посёлок основательно заняли немцы, казалось, на наряд можно было не выходить. Так безрадостно думали все бабы и в том числе Екатерина, ведь война внесла в души людей сумятицу, поломала сложившийся за годы колхозного строя уклад сельской жизни. Денис не доучился в ремесленном училище, хотя какое-то время занятия не прерывались, его должны были послать на какую-то стройку. В следующем году, зимой, когда Денису сравняется семнадцать лет, его могли забрать на войну; призвали же прошлой осенью ребят из их посёлка на год раньше призывного возраста. Судя по всему, для сына приближалось неотвратимое. Но она почему-то не подумала, что в условиях оккупации его не заберут. Мать любила детей всех, но Денис был любимей одним тем, что внешне был похож на неё, как две капли воды. И в нём соединилось много её хороших качеств: отзывчивость, честность, увлечение ремёслами, природа наделила его способностями к рисованию. И вот выпадала ему доля защитника Отечества, казалось, этим надо было бы гордиться, но Екатерина, томимая смутными предчувствиями, что война пришла надолго, жила в страхе от неминуемой с Денисом разлуки, после которой нечего уже думать о скорой с ним встрече. Впрочем, она боялась заглядывать в будущее, чтобы ненароком не взглянуть сына, и лишь оставалось уповать на везе-

ние да молить Бога, только бы скорей закончилась война. А теперь с приходом немцев она вдвойне боялась, что они могли угнать молодёжь в Германию, о чём ещё до оккупации и газеты пугали, и слухи ходили, приносимые также беженцами, что непокорных фашисты расстреливали и сжигали в крематории. Много мирных жителей превратили в рабов, томящихся в концлагерях. И только одно это нагоняло страх, а газеты призывали население к яростному сопротивлению оккупантам, не покоряться и не сдаваться. Легко сказать, не видя воочию немчуру. Вот они, молодые, сильные, наглые, вооружённые до зубов, расхаживают по горнице, лопочут по-своему. А потом один подошёл и стал наблюдать, как русская баба растапливала кизяками печь, от которых шёл горьковатый, удушающий дым. Немец покачал сокрушённо головой.

– Я шёл из Германий на ваш земля, – начал немец на ломанном русском, – а не видаль печка такой. Это шваль, шваль русишен, где дровы, угли, найн мутор. А твоя киндер нам не нужна, мы не фашистен, ми просто зольдат. Ми мирный немец, я-я, нас Гитлер пуф, пуф послал на вашу землю. Наш официрен посылайт арбайтен ваш человек не в Германий...

Екатерина, затаив дыхание, слушала немца, старавшегося, видно, расположить к себе, а в его полуюсных изъяснениях она улавливала искреннее желание понравиться, что они вовсе не нацисты, и пошли воевать не по своей воле. Потом немец достал бумажник из кителя, став показывать фотографии своих детей, жены.

– Моя киндер... я фролен, мутер киндер, – и показал на себя, – фатер киндер, я, – далее немец, назвавшийся Гансем, пытался выпытать у Екатерины о её муже, на каком фронте он воюет, на что она лишь робко пожала плечами, показав рукой в землю. А немец посчитал, что её муж погиб, и она не стала его разубеждать, вздохнув, считая, что немцу недолго прикинуться добреньким, чтобы войти к ней в доверие и выпытать необходимые для них, быть может, секретные сведения.

Через час Нина принесла парное молоко, и немец тотчас оживился, сказав весело:

– О, млёко, карошо! Вир арбайтен киндер дойчен поедет в Германий, и будет карошо жить. Найн? О, вир, вир! – немец видел, как Екатерина, поняв его намёк на счёт участи Нины, выразила несогласие на его обещание поспособствовать её дочери.

«Ишь что выдумал, райской жизнью соблазнять и потом отдать в рабство – нет, – не выйдет!» – подумала Екатерина, печально глядя на Ганса. «Все вы хороши. Не хотел бы воевать – не пошёл, а то вон, сколько тысяч километров надо было пройти с отъеденной мордой».

Немцы ели колбасу, пили сырые куриные яйца, выменяв их на шоколад, к которому Екатерина не притронулась. Ганс положил на стол три плитки шоколада и кусок колбасы. И потом пили свою водку – подносили Екатерине и Нине; но они отказались, тогда подозвали Дениса, который было пошёл, но тут же под взглядом матери остановился.

– О, солдате руссешен вир? Карошо, найн? Я, я шнапс – буль-буль! – сказал Курт, рассмеявшись, видя, что парень растерялся. Немец решительно встал и привёл парня, всунув ему в руку походную алюминиевую кружку.

– Денис – не смей пить! – в испуге воскликнула Екатерина приглушённым тоном. Но сын, точно не слыша взволнованное упреждение матери, с неким вызовом принял кружку. Затем довольно смело посмотрел по очереди на фрицев, поднял на уровне своей головы кружку.

– За победу! – тихо воскликнул он, став лихо пить крепкий шнапс так уверенно, будто это было для парня привычным делом, хотя на самом деле Денис только пробовал на праздники раза два вино домашнего приготовления.

Тост парня немцы, разумеется, приняли, поддержав его ликующими выкриками. А потом подняли Дениса на смех, так как его глаза налились слезами, и Курт сунул ему солёный огурец, какими угостила их хозяйка, когда на обмен предложили банку тушёнки. Екатерина подбежала к сыну и поспешно увела из горницы в переднюю, где посадила за стол, велев есть борщ, заправленный жареным салом и луком.

«И чего же наши пустили немцев сюда? Как же они так легко прошли»?! – думала сокрушённо Екатерина. – Видно, без боя прошли, а где же наша армия? И долго ещё это будет продолжаться, девчатам от них, ох, достанется, начнут пьяные изгаляться, говорили им: надо уходить с беженцами, так не поверили, что придёт к нам проклятая немчура».

В этот вечер немцы курили, пили водку, просили сварить картошку и заправить тушёной, играли на губной гармошке. Орали свои песни, выходили на двор. По всему посёлку была слышна немецкая речь, лаяли разъярённо собаки, где-то возле клуба стоял смех и визг девчат. Екатерина не могла понять: кому это взбрело выйти из дому? Их постояльцы звали Нину спеть с ними, но мать запретила и солдаты, что удивляло, отстали, и Екатерина осталась ими довольна: хоть не лезли нагло, а ведь могли сделать всё. Наверное, сказывалось европейское воспитание. А потом солдаты оделись и с автоматами вышли на улицу. Ганс, в звании ефрейтора, оказывается, был старшим. Он подошёл к Екатерине, дышал безудержно табаком, луком, водкой, весёлый, строил глазки:

– Бите, хошим знать, есть у вас баба лёгкий поведений? Твоя дочка красавиц кароший, ми не будем трогать. Воевать ми не хотим...

Екатерина с трудом разобрала, что именно он хотел узнать, и то, что уяснила, вызвало у неё стыд: как он мог у женщины спрашивать такое? Но и на том спасибо, что Нину они уважают, а для развлечений хотели бы соответствующих, падших женщин. А таких, в полном смысле, вряд ли они тут найдут.

– Не знаю, может и есть, я свечку ни у кого не держала, – ответила Екатерина. Сама она была ещё нестарая, но, правда, худая, с уставшим лицом. В серой юбке и бумазейной кофточке, с повязанным из ситца цветным передником. Вопрос Ганса её настолько возмутил, что она не могла долго успокоиться и не понимала: зачем немцы и на затеянной ими войне искали развлечений?

На улице, однако, было ветрено, а мороз жал вроде небольшой, но холод пробирал до костей. Снегу выпало ещё немного – на вершок, шумели тревожно деревья. Пахло перегревшимся кизяком. Екатерина в фуфайке вышла посмотреть: куда сейчас направятся немцы? Сначала они стояли за двором и переговаривались. А потом пошли к клубу, где слышалась речь их соплеменников...

Глава 8

Примерно через час или того больше, немцы пришли с улицы и оповестили на ломаном русском, что завтра утром их начальство собирает всех жителей посёлка в клубе. А для чего именно, они сами точно не знали. Но как раз это неведение Екатерину пугало больше всего. Впрочем, она боялась вовсе не за себя, она беспокоилась за судьбу своих детей.

Немцы пошли укладываться спать на походных кроватях. А Екатерина, уложив сыновей на кровати, себе и дочери постелила тут же, в передней, на полу. Нина легла с тревогой на сердце, потому что мать пошла смотреть печь, в топке которой ещё тлели дрова и кизяки. Слегка задвинула заслонку на трубе, чтобы быстро не уходило тепло, и следом прикрыла поддувало побелёной кирпичиной, чтобы на пол не вываливались красные угольки. И после того, как сделала всё, надо было бы лечь отдыхать, но от пережитых за день волнений спать не хотелось. А из горницы уже всюду доносился чужеродный храп здоровых мужчин: от сознания, что она приютила немцев, на душе было беспокойно, досадно потому, что после того, как прогонят немчуру, их могут обвинить в пособничестве захватчикам. Она подумала о Фёдоре: от него что-то давно не было писем. Как он там, в далёкой Сибири, и во сне почему-то его ни разу не видела. Может, это так надо? Значит, у него пока всё, слава богу, хорошо...

Екатерина осторожно, боясь скрипа дверей, вышла из хаты, чтобы посмотреть корову и кур. Посёлок спал. Нигде ни одного огонька. Только ветер шумел деревьями, как метавшийся

в бреду больной. И кругом темнота – хоть выколи глаза. Где-то, должно быть, в стороне города слышна автоматная очередь, раздавался отдалённый настойчивый орудийный гул. От клуба ветер доносил обрывки немецкой речи, тявкала настырно чья-то собака. У соседей Дмитриковых немцев было трое. Дочери Прасковьи с вечера чему-то бесновато смеялись, а она их ворчливо умирала, обзывая дурёхами...

Екатерина видела, как один немец по двору гонялся за Машей, а потом выдохся и сам смеялся вместе с ней. Меньшая, Брана, в отличии от старшей, полнотелой, справной, гладколицей, с блестящими серыми глазами, была худенькая, как тростинка, с маленьким округлым лицом, весёлыми серо-голубыми глазами, островатым, вечно будто удивлённым тонким носиком, немцев ничем не привлекала. Однако у неё был звонкий голос, часто она грубила Прасковье. И была всего на год моложе сестры, но с парнями не зналась и в клуб на танцы до войны ходила очень редко, стесняясь своей худосочности. Хотя любила и сплясать барыню, и спеть частушки. Её, обладавшую мелодичным голосом, приглашали для участия в художественной самодеятельности, которую к праздникам готовила, бывало, Авдотья Треухова с гармонистом Захаром Пироговым, жена которого Павла бросала в такой день репетиций домашние дела и шла в клуб смотреть за мужем. Авдотья шутиливо и всерьёз приглашала её в хор для спевков. Но Павла грубо и наотрез отказывалась. Над ней шутили мужики и смеялись бабы.

Екатерина слышала это после от тех же языкастых баб на наряде. Теперь, когда шла война, прошлая жизнь казалась прекрасной, счастливой, но её не всегда умели ценить. Посёлок спал: ночная тишина, помимо ветра, время от времени нарушалась то гулом орудий, то где-то ехали машины, ревя двигателями. Екатерина опять подумала о том, что завтра для всех посельчан наступит тяжёлая пора испытаний под гнётом оккупационных немецких войск. Только бы немцы не лютовали над простыми, ни в чём не повинными людьми. В газетах писали о зверствах нацистов на захваченных территориях, как людей безжалостно угоняют тысячами в рабство, а немало расстреливали или вешали. Наконец Екатерина пошла в хату, снедаемая страхом, как бы немцы не утащили к себе дочь, а Денис, чего доброго, начнёт заступаться за сестру и пострадает...

Но в горницах слышались лишь сонное сопение сыновей да крепкий храп немцев. Екатерина, как была в тёмной юбке и вязаной кофте, сняв фуфайку и бурки, легла на пол. Остерегаясь потревожить спокойный, неслышный сон дочери, перевела дыхание и постаралась заснуть, чтобы завтра собраться с силами для испытаний. В мишкинскую школу дети вряд ли пойдут. И Денис не поедет на училищную практику. Было слышно, как на крыше ветер ворошил солому, забираясь с подвыванием в застрехи и где-то там, на полати, носились со свистом мыши. Когда немцы вошли, кот выскочил в сени и по стене залез в дыру на чердак, и с того дня оттуда не слазил. Даже животное видело в пришельцах чужеродных людей. С этими мыслями Екатерина погружалась в сонное забытьё, которое теперь для неё было слаще всего.

Почти те же чувства в этот вечер владели многими людьми в посёлке. К Макару жалась жена Феня, у которых на постое было четыре немца, занявшие почти всю хату, вытеснив хозяев. Шура и Назар не успели уйти из дому, как того велел им отец – немцы вернули. Восьмилетняя Ольга даже под кровать не спряталась – сидела в углу, исподлобья настороженно наблюдала за вражескими солдатами. Они окружили Шуру и весело, сверкая наглыми глазами, болтали, предлагая пройтись с ними под руку по посёлку, называя её крестьянской фройлен. Цокали нарочито восхищённо языками, качали от показного удовольствия головами. Они смеялись, острили. Потом пришёл, видно, старший по званию и заговорил с солдатами на повышенных тонах, после чего немцы больше Шуру не затрагивали. Макар позже дочери пришёл с колхозного двора, увидев жалостный, полный сострадания взгляд жены.

– Я уже стала беспокоиться. Немцы, видишь, какие все нахрапистые: яйца им отдай да молока подавай. И ублажила, а тебя чего они задержали?

– Спросили, что тут на своей земле делаю. Почему не на фронте, не партизан ли, всю контору перевернули верх дном. Что там искали – не сказали, – говорил Макар неторопливо, слегка волнуясь. – А вы-то как тут, у нас их много?

Феня, вместо ответа, показала на пальцах, согнув один, и шёпотом прибавила, что Шуру и Назара догнали и пригнали, как скот.

– И автоматами в них целились, во дворе поставили под сарай, – говорила тихо жена, – я чуть было крик не подняла, а им смешно только. Попугать так решили. Что теперь нам делать?

– Завтра мне велели собрать сход. Я им признался, что являюсь тут председателем колхоза. Хотят выбрать старосту, составят список всех жителей. Меня настрого предупредили: кто поведёт себя враждебно к новой власти немецкого Вермахта, тот будет караться смертью.

Феня сокрушённо покачала головой, задумалась.

– И ты будешь у них старостой? – спросила в страхе.

– Не знаю. Но колхоз останется, и люди должны с завтрашнего дня работать на земле для Германии: их власть у нас навсегда – так они считают.

Немцы в горнице играли в карты, пили шнапс: дым висел сизыми лоскутами. Они подозвали Назара и тот, кто проиграл бил его картами по лицу. Заставляли пить шнапс. Назар пил короткими глотками и краснел, после чего ему стало дурно. Его увела Феня. Макар как умел объяснял: лучше бы его угостили, чем пацана. Но немцы, смеялись, сворачивали фигу, как-то дурно обозвав его по-своему. И по-русски пытались заговорить о дочери, что увезут её в Германию для увеселительного заведения одной фрау, которая любит содержать иностранных барышень. И будет её дочь счастлива...

Затем немцы ушли куда-то к своим, Макар слышал смех девчат, возвращавшихся с колхозной дойки. На ферме по собственному желанию осталась дежурить Домна Ермилова. На телятнике, где уже телят не было, стояли быки, которые раньше с лошадьми занимали один общий длинный сарай. И вот ночью быков стерегла Натаха Мощева, а ток и свинарник охранял Роман Климов, птичник приглядывала Василиса Тучина. Кузня который месяц была уже закрыта, так как кузнец Иван Горшков с братом Титом ушли на фронт.

Почему так смешно было дояркам, Макар не знал; но он бы так не удивился, если бы это происходило в мирное время, а тут пришли немцы. А им почему-то стало смешно, будто дождались своих кавалеров, что значит молодость – всё как бы ни по чьём.

Наверное, через час во дворе слышались голоса немцев, шумно вошли в хату, внеся чужеродные солдатские запахи. Потом алчно смотрели на Шуру. Подозвали Ольгу, держа в руках шоколадки. Она жалась к подолу мачехи. Тогда толстый немец сам подошёл и дал шоколадку, лопоча по-своему, потрепал слегка за щёчки девочку. Увидев настороженные, испуганные глаза русской женщины, немец произнёс, подбирая русские слова:

– Ми не фашист. Ми немецкий зольдат воеватен против большевик, а мирний житель ми не трогайт. Каратель трогайт, пуф-пуф, а мы – найн.

Он подошёл к Макару, всматриваясь в его простое русское лицо.

– Ты большевик? Я, я, ты бойся не нас, а каратель есэс. Он большевик пух-пух! А ми даже не регулярный воинский часть, ми на Кавказ, там нефть на наш танка. Вашу Москву ми уже взял. А Сталин – сбежал...

Оккупанты, назвав его Фрицем, довольно грубо оборвали, резко замахав руками, вытолкнув из горницы прочь. Макар без труда смекнул о том, что немец пытался объяснить ему о положении на фронте, о взятии нашей столицы и о якобы бегстве вождя Сталина. Макар, конечно, не слыл легковёрным и не принимал близко к сердцу слова весёлого, к тому же болтливое, вражеского солдата. Наверное, он нарочно хотел выставить своих соплеменников не такими злодеями, какими их расписывают в советских газетах. Разумеется, о расправах захватчиков над мирным населением в газетах писали, и не было оснований им не верить. А эти, стоявшие в посёлке немцы, по словам Фрица, отделяли себя от истинных фашистов. И какая между ними

принципиальная разница, Макар не знал. На вид они обычные люди, только облачены в военную форму и при оружии. Но пока у них, слава богу, не слышно было ни одного выстрела, пока они никого не ограбили, не обидели; если не считать того, что вторглись в хаты, где заняли лучшие места и захватили весь посёлок, принесли с собой кровавое дыхание войны. И что удивительно, Макар пока не испытывал к врагу лютой ненависти, и окажись у него в руках оружие – обычная винтовка, он бы и тогда не стал стрелять в немцев, и он даже точно не ведал: как должен вести себя человек в условиях оккупации? Конечно, однозначно – за доброе отношение немцев к меньшей дочери и прощение старших – дочери и сына, Макар не мог быть не благодарным немцам. А вот любить их за выказанное милосердие – не собирался. Ведь когда он услышал от жены, что немцы имитировали расстрел Шуры и Назара, ему стало дурно. Их старший офицер заступился за Шуру, отогнал солдат. Однако это не означало, что он заслуживал какое-то особое, почтительное уважение. Но нечто похожее Макар всё же почему-то к нему испытывал. Видать, не все немцы жестокосердны, хотя это качество в полной мере ещё не проявили. Большею частью они склонны вести себя на чужой земле соответственно обстановке. Пока им явно тут никто не угрожает, они готовы и позабавиться с девушками без учинения насилия, и начать с удовольствием насаждать свои германские порядки. А вот этому русская душа противилась всем своим существом...

Когда немец спросил у него, большевик ли он, Макар удивился оттого, что Фриц, интересуясь его партийной принадлежностью, словно в этом был осведомлён. И будь на его месте настоящий фашист, тогда бы ему не поздоровилось. Фриц не стал допытываться у него, прав ли он в своей догадке или, наверное, всерьёз полагал, что всякий русский – это большевик. Неужели для немцев большевик так же страшен, как для них, советских людей, фашист? Эти слова будто бы наполнены непримиримым враждебным духом для чужих народов! Макар не был силен в политике и потому больше не стал доискиваться истины. Хотя сейчас она была в том, что немцы хозяйничали на их земле, куда их никто не звал. А ведь Макар чуть не признался (по неведению), что он большевик, не причинивший их стране вреда...

Дети легли спать на кровати; жена приставила к ней длинную лавку, постелила на неё старую одежину. Назар почему-то хмуро молчал, не смотрел на отца, курившего сигарку, сидя у окна. С отцом сын и раньше вёл себя малообщительно. Назар закончил семилетку и хотел учиться дальше. Но Макар тогда, утративший власть в пользу Корсакова, не стал просить Гаврила, чтобы направил парня хотя бы на какие-либо курсы. Нет, бухгалтером и агрономом Назар быть не собирался, так как ему нравилась техника, и он хотел стать механиком над всей тракторной станцией. Водить трактор он выучился довольно быстро у Матвея Чесанова, к которому Назар похаживал даже во время полевых работ то ли сева, то ли боронования. И Матвей усаживал рядом с собой Назара, этого необщительного, несколько угловатого, но смекалистого, ловившего на лету его науку.

Макар об этом знал и не запрещал сыну постигать дело пахаря. Потом, уже при Корсакове, Назар получил официально путёвку в механизаторы: два месяца обучался на тракториста, после чего думал пойти в техникум. Однако отец не уважил сына, не испросил у председателя направление, чем посеял против себя у сына лютую обиду. Ведь он знал, как отец в своё время послал на учёбу Алёшу Жернова, а родному дитю в этом отказал. Однако Макар не стал объяснять Назару, почему он так поступил; и таким образом, между сыном и отцом встала стена негласной вражды. Но Назар не выговаривал отцу упрёков, что обрекал его на вечную долю тракториста. И вообще, Макар лучше относился к Шуре, чем к нему, отчего ему казалось, что он не любил его, никогда не интересовался у сына, о чём он мечтал, о чём думал. И Назар вырос, чувствовал себя совершенно обделённым со всех сторон, ведь мачеха занималась только с Ольгой, тогда как его, Назара, она как будто стеснялась. И то правда, в её ласке он не нуждался, срывая с детства чересчур гордым, самолюбивым, зазнающимся, так как он сознавал себя сыном председателя колхоза. И потому хотел держать верх над пацанами, чего

те этого не допускали ни в какую. Назар же из-за неподчинения его воле чрезвычайно злился, таил обиду и пытался им мстить. С Дроном он однажды даже подрался, но не одолел того, поскольку тот был нагл и груб. Назар ненавидел ребят за одно то, что они его не почитали как сына председателя, а ведь должны были ему неукоснительно подчиняться. Но даже пацаны Зябликовы, будучи тогда их соседями, которыми он пытался командовать, норовили не принимать его в свою компанию только потому, что Назар навязывал им свои правила игры...

Глава 9

К Жерновым на постой прибыли два унтер-офицера. Они были невысокие, как на подбор, несколько щупловатые. Марфа встретила их с улыбкой непритворного радушия. Хотя сама была, как струна, вся натянута. Её отец, Никита Андреевич, как раз подшивал валенки суровой дратвой, сидя на скамеечке возле печи, от которой исходило тепло остывающих древесных углей и кизяков. Дочери Марфы сидели в передней горнице с потухшими глазами, как две молоденькие старушки, которые не отличались завидной девичьей статью. Наташа и Настя были в цветастых одинаковых юбках и коричневых блузках, с подобранными на затылке русыми с рыженкой волосами. Лица у них некрасивые, маленькие. У Наташи под глазами к носу рассыпаны веснушки, которые ей частенько портили настроение.

Алёша, до прихода немцев, бойко рассказывал сёстрам и деду вычитанный в газете рассказ, как в одном селе наши войска отчаянно били фашистов. Теперь он, притихший, растерянный, сидел возле деда, а газета лежала на столе. Немцы увидели снимок с подбитыми их танками и вверху заголовок: «Враг отброшен» и один раздражённо сказал:

– Советский пропаганд! Мы уже в Москва. Ви будете свободен от большевик. Ти согласен? – спросил он у Никиты Андреевича.

– Они ещё всыпят перцу – погодите, – пробурчал Осташкин, не отрывая глаз от валенка. Ему было крайне неприятно, как немцы заинтересованно созерцали его, словно он был для них русским чудо-мужиком.

Второй немец, встав в раскорячку, чуть согнувшись, разглядывал внимательно работу старика и качал головой, словно для него в эту минуту не было забавнее зрелища, чем подшивание валенок русским дедом. Однако первый унтер-офицер слова деда расслышал, но подлинного смысла вряд ли уяснил, и почему-то засмеялся, хлопнув ладонью деда по плечу. Осташкин поднял глаза, сверкнув линзами круглых очков; он сжал челюсти, напрягся, ожидая удара в лицо. Но вместо этого немец рассудительно и приподнято заговорил:

– Ничьего, фатер, война уже к весну закончитца, ми сделай вам счастливый зизнь! Арбайтен на Германий и хлеб ти получай – вир!

Затем немец приблизился к сидевшим на кровати девушкам, став им пояснять, что надо постирать вещи и это они должны сделать немедленно.

– Где у вас тють русский бань? – спросил первый офицер Осташкина.

– В корыте моемся – нет бани – ответил дед грубо.

– Плёхо, швайн! Советен строй плёхой, я, я, немецкий культур получайте...

– А чем же лучше ваш, фашистский?

Но в этот момент немцы бойко заговорили между собой и последних слов старика не услышали. Марфа как раз вошла в хату с ведёрком молока, запах которого разошёлся по горнице, с лёгкой примесью навозного. Вражеские постояльцы закрыли ноздри, сморщились, яростно замахав на женщину руками, как бы отгоняя от себя проказу русского быта. Марфа испуганно и растерянно взидала на немцев, переведя взгляд на отца, затем на детей: всё ли у них тут в порядке, пока её не было в хате.

– Млёко вир, карошо, дух русский швайн! – воскликнул немец с рыбьими глазами, с прогнутым носом. Затем сказал, чтобы хозяйка сварила картошку и принесла сала, а сами пошли

в горницу, где и разделись. И вытянулись на железной кровати с мягкой пуховой периной, вдруг став смеяться. Они курили пахучие папиросы, с запахом душистого табака.

Никита Андреевич, работая проворно шилом, иглой, обдумывал слова немца, сказавшего о планах своего начальства относительно обустройства русской жизни по новому немецкому порядку. Немец, кажется, говорил искренне, полагая, что русский народ с радостью примет новый уклад послевоенного времени, что германские войска принесли им освобождение от коммунистического ига, что отныне на их земле воцарится цивилизованный европейский строй на основе немецкой культуры. Да, Осташкин был издавна наслышан о том, какие немцы педантичные, пунктуальные, любящие хозяйничать красиво, весьма рачительно и расчетливо, продумывая все до мельчайших подробностей. Но привьётся ли их уклад, это ещё вилами писано, да и вряд ли они хотят счастья советским людям, наверняка у них свои планы. Недаром они себя называют фашистами, что же, разрушив до основания наши города и посёлки, спалив сёла и деревни, угнав людей в плен, разве сами они всё это восстановят и переобучат на свой лад народ? Как бы не так! Да, они замышляют варварски стереть с лица земли нашу могучую страну. Переселить свои народы, чтобы на чужой захваченной ими земле построить германские города и насадить свою культуру. И русскую нацию, как в газетах внук читал, уничтожить или обратить в рабство. Мы сами должны строить у себя их города и учиться у них? Вот это и будет счастливая жизнь? В таком разе не нужен нам их европейский рай, сами построим свой, когда изгоним, как всегда изгонял врагов со своей земли русский мужик. И выдюживал все лишения и невзгоды, и возрождался русский народ. Единственно Осташкин был с немцами согласен в том, что большевики не нужны, ведь сколько они горя принесли своему народу, как эту революцию учинили в семнадцатом. И опять-таки слух тогда о Ленине ходил, что без германцев, их денег, он ничего бы не сделал. Это, дескать, немцы захотели уничтожить руками большевиков Российскую империю. Собственно, ещё издавна германские племена вторгались в русские княжества. Их всегда разбивали наши славянские дружины во главе с Александром Невским. Уже который век немцы пытаются покорить Русь. Да, большевики с немцами замирились, чтобы в Гражданской войне перебить правящий класс, с чем справились, однако, посеяв вместе с этим разруху, голод и мор. Но немцы почему-то не успокоились и снова пошли на Русь, чтобы сокрушить обманщиков-большевиков, присвоивших их деньги. Они и свой народ обманули: землю сначала дали, а потом отобрали и насадили колхозы. И от их самоуправства крестьянам нет поныне никакого продыху. Вот уже больше десяти лет Осташкин должен принаровляться к колхозным устоям, отбирающим личную инициативу, отучающим самостоятельно трудиться на земле. И ещё надо председателю в ножки кланяться по каждому пустяку. Костылёв предложил Осташкину стать конюхом, и он с радостью пошёл, ведь на конюшне видишь меньше начальство...

Марфа начистила полведра картошки на своих чад и немцев. Себе жарила на сале – вражеским солдатам варила и думала, что теперь картошки на всю зиму не хватит, отчего дух уходил в пятки. Отец видел, как она нервно чистила картошку, боясь с ним заговорить, да и он тоже помалкивал, прислушиваясь к громкой немецкой речи и солдатскому хохоту. Ему было противно оттого, что они обзывали их грязными свиньями, ставя ни во что. Лампа вдруг стала гаснуть – кончался керосин. Алёша достал из-за сундука маленькую канистру с керосином, налил в посудину, и затем заправил бачок лампы. У немцев было темно: сквозь цветные ситцевые шторы на окнах виднелись огоньки в хатах противоположной стороны улицы через балку. Напротив них на поляне виднелась школа, за ней – клуб, где были также немцы, и стояла их боевая техника. Алёша подумал – можно подкрасться к ней с канистрой, плеснуть на неё керосинчику и бросить зажжённую спичку. Вот бы подговорить кого-либо из ребят, но дальше этой мысли дело у него не пошло – просто духу не хватило. Впрочем, он очень боялся, что немцы их схватят и на месте расстреляют. А он ещё и не жил. Уж лучше бы пришли тайком наши солдаты и выкурили бы отсюда немцев, да где они теперь. Алёша уже забыл, что ещё до войны,

когда Нина бросила его, он думал, вот, дескать, была бы сейчас война, так он бы добровольцем первым ушёл на фронт. Но сейчас он так уже не мечтал. И не потому, что в посёлке никто не записался добровольцем на фронт, просто он чувствовал, что к такому шагу внутренне ещё не готов. Впрочем, такую мысль он не допускал к себе, им безраздельно владела одна мысль, что всё равно пойдёт служить в армию, если бы даже не было войны. А сейчас, в условиях оккупации, он невольно тешил себя мыслью, что было бы ему восемнадцать лет, то его бы не могли забрать на фронт. Словом, чем дольше будет продолжаться война, тем вероятней всего можно остаться невредимым. Конечно, так было думать подло, в то время как другие земляки сражаются и погибают, защищая Родину.

Такие трусливые настроения к Алёше стали приходиться после того, как в посёлок начали приходить похоронки или извещения о без вести пропавших. Эти сообщения возбудили в нём опасность, что он тоже может погибнуть в пекле войны или сгинуть без следа, тогда как он ещё до путя с девками не целовался и не стал мужчиной. Когда немцы пошли дрыхнуть, Алёша не без страха скомкал и сунул в топку печи газету, которая враз вспыхнула, выбивая сильное пламя в щели чугунных кружков. Сунул он, между прочим, так быстро, что Никита Андреевич не успел даже остановить его. А потом, жестикулируя руками, мимикой лица, дал внуку понять, что зря он так скоро расправился с газетой. Сёстры при этом тупо смотрели на брата, словно с приходом немцев потеряли разум. Раньше они что-то шили или вязали, или готовили еду.

– Вас они не трогали? – тихо спросила Марфа.

– Нет, просили только постирать им тряпки, – ответила Наташа.

– А чего им от нас надо? – поинтересовалась в оторопи Настя, часто моргая.

– Они знают чего, а вам ещё надо объяснять, своего ума нет? Ой, да какие же вы у меня глупые! А ты чего смотришь? – спросила мать у сына.

– Это они смогли бы, если бы меня не было, – прихвастнул самодовольно Алёша, гордо при этом глядя на сестёр. Марфа раздражённо махнула рукой. Хотя Алёше действительно, казалось, что немцы при нём вели себя по отношению сестёр прилично.

На бахвальство внука Осташкин тихо засмеялся, причём, сдерживая смех и получился приглушённый визгливо-скрипучий звук, как у колодезного журавля.

Часа через полтора немцы встали, принявшись распаковывать свои довольно вместительные походные ранцы.

Марфа принесла офицерам в двух мисках жаренную на сале картошку, шматок солёного, пару луковиц. Немцы одобрительно воскликнули, прося ещё молока и яиц, после чего она растерянно заморгала глазами: если они так будут кланяться у неё каждый день, то свои дети с голоду опухнут. И Марфа, тяжело вздохнув, взялась рукой за лицо, выражая тем самым крайнюю досаду. Немцам же казалось, что русская баба жалеет их, и они предложили ей выпить с ними, наливая в колпачок фляжки шнапса. Она взяла и выпила тотчас же. Офицеры одобрительно жестикулировали, что-то говорили своё. Затем спросили о её муже, Марфа сказала, что он был осуждён, как враг народа. Она думала – немцам можно пожаловаться и услышала:

– У вас были репрессии, ми зналь. Сталина ми пуф-пуф! И ви вздохнёт свобода, я, я! Коммуниста – к стенке. Кто у вас есть коммунист?

Марфа, глядя на немца беспокойно, отрицательно покачала головой, зная, что Костылёв состоял в партии, как и её муж. И она боялась, как

бы немцы об этом не узнали, ведь за утаивание они бы её ни за что не пощадили.

– Ви служиль Германии я, вир, корошо будите зить, – пояснил младший офицер. – Партизанен найн?

– Какие к чертям в степи у нас партизаны? – удивилась Марфа.

– Подполье, диверсион, найн – карошо будем ладить!

– И не думайте так, мы мечтаем об одном, как бы скорее война закончилась. Бабы не воюют. Ну, вы лопаите, а я пошла своих кормить.

Немцы закивали, улыбаясь, вслед напомнив о молоке и яйцах. Марфа наморщила скорбно лоб и ушла, кивнув им, она не знала, что они могут просить ещё. И вообще, какие у них намерения насчёт них. Марфа старалась им всячески угодить и отлила молока в литровую банку. И дала по одному яйцу, показав при этом, что больше нет, куры очень плохо несутся...

Глава 10

Гордей Путилин в своё время догадывался о том, что сестра Анфиса тайно встречалась с Гришей Пироговым. Однажды, когда он гулял с Ксенией по посёлку, Анфиса торопко прошла от поляны к дороге, которая вела в сторону лесополосы. Он не тут же смекнул, к кому она направлялась. Тогда Гордей всё ещё был уверен, что сестра не уронит своё достоинство и честь семьи. И оттого не очень задумывался о её странном поведении, ведь ей никто не запрещал с кем-либо встречаться. Вот только возникал вопрос: почему она это делала украдкой? Однако ни тогда, ни позже так и не спросил у сестры, – постеснялся. А теперь Гриша воевал. Дрон однажды намекнул Гордею о сестре; он покраснел и на его колкость ответил как-то невпопад. Хотя о её близких отношениях с Гришей уже судачил весь посёлок. Но он всё равно не обращал на это внимания, несмотря на то, что сестру уже склоняли на все лады. Правда, когда началась война, толки о её задетой чести умолкли, а сама Анфиса ходила с гордо поднятой головой, словно всем своим красующимся видом говорила: «Разве я так-таки похожа на падшую?»

Когда немцы вошли в посёлок, Ксения, Анфиса, сёстры Овечкины, Валя Чесанова, Клара Верстова, Таня Рябинина шли с фермы домой мимо клуба, где стояла группа немецких солдат, которые вдруг кинулись к девушкам, как коршуны на стайку кур. Поднялся смех и визг: девушки метнулись в рассыпную, и лишь Анфиса одна не побежала от немцев. Ксения, убегающая, оглянулась на неё, как два дюжих фрица, взяв девушку под руки, приглашали её куда-то. Но было уже темно, и что происходило дальше, Ксения не увидела. Однако её поразило удивительное спокойствие Анфисы, словно та была напрочь лишена страха.

Но ничего позорного для девушки не произошло, поскольку немцы, как ни странно, повели себя с ней галантно, словно соревновались с одной целью: чтобы она отдала предпочтение кому-либо из них одному. Анфиса, плохо понимая их, смеялась, ловя себя на том, что ей приятна немецкая обходительность, в чём не могли тягаться наши ребята. Хотя завести роман с понравившимся немцем девушка, разумеется, остерегалась из-за осуждения своими бабами. Конечно, о серьёзной любви с немцем она не мечтала, о чём не могло быть и речи. Анфиса не стала бы колебаться лишь в том случае, если бы её родным угрожала опасность, и пошла бы на уступку любому офицеру, чтобы только не увезли в Германию ни её, ни брата. А пока немцы с ней просто шутили, называя её снисходительно красивой фрейлиной. Они собирались устроить танцы с местными девушками под патефон, о котором многие даже не слышали. Так Анфиса прошла с немцами почти до балки, слушая как-то рассеянно их мало понятную ей болтовню.

А дома Анфиса застала уже пятерых немцев. Аглая, увидев дочь, сказала, чтобы не выходила на двор одна, ведь немцы просили её отдать им дочь. Гордей, кажется, услышал их шёпот и думал о Ксении не без ревности и ненависти. Он хотел уйти к ней, но боялся, что без него немцы совсем распоясаются, так как сейчас, пьянствуя, они подзывали мать и лапали её груди, бёдра, на что он не мог смотреть спокойно. Немцы все были упитанные, не очень молодые, а один так даже очень похож на борова.

Анфиса вошла в хату почти бесшумно, она села за стол. И, после предостережения матери, заговорила о надоевшем молоке, от оставшихся десяти коров... Макар не велел везти их в город. Гордей, после изведения почти двухсот коров, теперь на ферме числился только

формально, лишь правда участвуя в отправке зерна государству, продолжавшейся большую часть осени.

– Молоко пропадёт, – посетовала Аглая. – Отдали бы колхозникам. И чего Макар боится, теперь достанется немцам.

– Они не спросят – сами возьмут, если уже не забрали, – сказал Гордей. – Я прав, Анфиса?

– Немцы уже пересчитали весь скот и выставили охрану. А молоко нам не велели трогать, – ответила сестра.

– Завтра что-то будет. Всех созывают на сход, – сообщила Аглая.

– Я схожу на улицу, – сказал Гордей.

– Сиди, немцы патрулируют посёлок, – предупредила Анфиса. – Ничего с твоей Ксюхой не случится. Они приличные европейцы, сколько шику в них, чувствуется воспитание...

– А ты уже знаешь? – сильно удивилась Аглая.

– Мам. Да видно их на расстоянии...

– Не глупи, воспитанные, а тебя просили быть им служанкой... или того хуже... и ты так врагов нахваливаешь?

– Наверно, они шутили... – пожалала она плечами.

– Скорей бы их отсель шуганули. Будут здоровые, отъевшиеся мужики шутить. Меня, старую, и то охлопывали... совести у таких нет, из них звери выглядывают. Зазеваешься – слопают! – она смущённо взглянула на сына.

Гордей тихо вышел в сени – Аглая не увидела. Анфиса, слушая мать, промолчала. При брате ей было неловко. Ей казалось, будто Гордей злился на неё за то, что подвергла себя осмеянию. Предала позору всю семью, но виду не подавал, что знает её тайну.

Один немец вошёл в горницу, при виде девушки он весь просиял, хлопнул в ладоши, ретиво засеменив к Анфисе.

– О, фройлен! Бите, шнель, пошёл к нам в компаний, – он тянул её за руку. Аглая решительно встала у него на пути.

– Нельзя ей. В колхозе был ящур, – пыталась она урезонить немца с толстыми ягодицами, как у хорошей женщины, и одутловатым лицом.

– Ти, матка, врун! Ми зарази не бойся, ящур немецкий зольдат пуф-пуф! – немец засмеялся, не отпуская руку девушки, став отталкивать другой рукой Аглаю. – Ми плёхо ей не сделай, полька станцуем и русский барынь.

Анфиса не стала чиниться, вдобавок ещё один немец пришёл. Она успокоила мать, что в случае чего сумеет отбить у них охоту от похотливых намерений. Хотя видела, с каким вождёльным блеском горели у солдат глаза.

Аглая с сожалением проводила дочь глазами, в которых пряталась тревога, боязнь, тоска. И только сейчас она обнаружила, что Гордея нет, и её брови испуганно поднялись, она сердито-панически застыла в беспокойстве. Но тут она услышала смех дочери, в котором слышалось озорство. Аглая не хотела подсматривать, полагая, что при ней они не посмеют насилловать. О том дурном слухе, какой в посёлке ходил о дочери, Аглая переживала молча, опасаясь сама расспросить Анфису, опасаясь, что та его подтвердит. Ведь она знала, как ещё за Доном дочь не пресекала развязных ухажёров, которые ей чем-то, видать, нравились. Сама Аглая, не утратив в душе веры в Бога, очень боялась одной мысли о грехе, несмотря на появлявшееся желание вновь обрести любовь. Но поскольку она глубоко уяснила, что муж даётся от бога один раз, никогда всерьёз не помышляла о втором браке. А с плотскими соблазнами в себе успешно справлялась. Однако дочери свою веру, как ни старалась передать, Анфиса всё равно не прониклась ею так же глубоко, как она сама. Вот что значит влияние антихристового племени. Хотя все её дети почитали религиозные праздники, да только уже как в старое время, садясь за трапезу, не крестились, не проговаривали молитвы. Да и она, Аглая, ни вслух, ни про себя тоже этого уже не делала, так как остерегалась, что проявление в открытую набожности

не пойдёт ей на пользу. Ведь и без того она, не признаваясь детям, в каких муках жила все эти годы, опасалась разоблачения, как беглой, у которой муж бывший белогвардеец. А между тем она так и не узнала, что не зря пребывала в страхе за своё прошлое, что Рубашкин порвал при Костылёве полученную на неё бумагу из Ижевского НКВД. Казалось бы, Аглая должна была отнестись к нашествию немцев как к избавлению от груза ответственности за прошлое, какой она, правда, не чувствовала. Это ей часто напоминали о ней когда-то, однако она не видела, не находила в немцах своих освободителей, относясь к ним исключительно как к оккупантам, вторгшимся в её личную жизнь...

Немцы стали играть на губной гармошке свои народные мелодии, что-то при этом выкрикивая по-своему. У них хорошо получалась полька, и рьяно учили танцевать Анфису, которая кроме барыни ничего не умела. И никогда не пела. Но барыня у них не получилась.

Аглае было стыдно за дочь: зачем она угождает им и танцами, и смехом, демонстрируя как будто полное своё согласие с их желаниями? Сейчас она в тревоге подумала о Гордее, как бы немцы его не схватили по дороге к девушке; и ей хотелось немедленно найти сына. Но Анфису нельзя было оставить наедине с немцами, устроившими в хате настоящий трактир. Сколько так продолжалось, она не знала; время будто остановилось. Аглая была готова выволочь дочь за волосы из горницы, да ещё и отхлестать её по щекам за бесстыдство. Но её воля была будто скована некими потусторонними силами. Немцы ей представлялись антихристовым воинством. Разве верующие люди способны убивать себе подобных, о чём в евангелии ясно сказано: не убий, не укради, не прелюбодействуй. Ведь у немцев есть семьи: жёны, дети. Неужели во всём подлунном мире вера у всех народов утратила свою прежнюю силу. Хотя войны всегда учинялись одной страной против другой. И шёл народ на народ, с Богом в душе, каждый за свою правду. Как правило, поработителей рано или поздно изгоняли, божественный промысел был на стороне слабых, становившихся вдруг сильнее сильных...

Аглая не заметила, как углубилась в свои мысли, и тотчас весёлый шум немцев отдался, а потом и совсем как бы смолк. Причём на самом деле, и лишь слышалась их тихая речь и как Анфиса пыталась у немцев узнать: сколько ещё они тут будут торчать? Неужели им охота отсиживаться в тылу, когда их передовые части пошли дальше?

Немцы, будучи изрядно навеселе, утратили на время бдительность, стали говорить, что тут им позволено стоять, чтобы Красная армия не зашла с тыла и не ударила в спину по их войскам. И ещё они будут работать с местным населением, налаживая немецкий порядок. Аглая прислушивалась к их речам и оторопела, что дочь становится свидетелем относительно планов немцев. Почему ей интересно это знать, ведь чего доброго сочтут её за шпионку, оставленную властями для этой цели.

Немцы, видно, уже подустали, притихли, Анфиса как будто не собиралась уходить хотя бы под каким-либо благовидным предлогом. Аглая попыталась окликнуть дочь. Но она не отзывалась, что сразу насторожило мать. Аглая, преодолевая страх и отвращение, заглянула в горницу, где было темно, немцы потушили свечи. Аглая взяла лампу и встала в проёме, выставив вперёд лампу, и перед её взором открылась ужасная картина. Один немец сзади держал Анфису, зажав ей рот ладонью, второй лапал груди, а третий залез под юбку, Аглая, полная возмущения и гнева, крикнула:

– Что вы делаете, окаянные, отпустите её немедленно! – но тут же она опомнилась, что вызовет гнев немцев, прибавила тише: – А кто-то обещал вести прилично, – и покачала головой.

Трое немцев засмеялись, отстранились от девушки; двое других уже вповалку спали на кровати.

– Вот тебе их шик, вот тебе их воспитание! – бросила жёстко Аглая, хватая дочь за руку, сильно потянув её к себе. – Ступай и больше к ним не подходи! – Анфиса покраснела.

– Матка твоя злой, а ти не фройлен, – немец стал насмешливо куражиться, изображая брезгливость.

– Лучше на себя посмотри, у своих начальников ты лакей, а у нас корчишь барина! – отчеканила Аглая, поражаясь своей смелости, хотя она надеялась, что немцы всё равно её не поймут. Однако немец пошёл к ней, Аглая в страхе загоразиваясь руками, отступила к печи, куда на припечек поставила лампу, беря в руки кочергу. Но немец, смеясь, пошагал в сени, за ним – остальные. Было слышно, как брякала дверная щеколда. Значит, напились, наелись, нагулялись и пошли до ветру, с облегчением смекнула она, переключаясь в своих думах на Гордея.

– А он, куда краги наострил? К Ксюхе, ох, дурень! – мать покачала головой и обратилась к дочери, сидевшей на кровати: – Вот какие наглые морды, прямо при мне телешили тебя!

– Да они, небось, шутили. Ничего бы не сделали, – обронила Анфиса, а я нарочно не сопротивлялась, чтобы навозом им в носы ударило, мамашка.

– И чего ещё, мало тебе слухов, я на людях из-за тебя от стыда сгорала, а тебе всё ни по чём? Удивляюсь, Анфиса, тебе, Бога забыла, бесстыжая!

– А что ты мне про слухи, неужто кто свечку держал? – ответила сердито дочь.

– Зря бы не говорили, что-то, небось, было, если уверена, что свечку не держали. Кавалер, значит, язычок распустил. Знал, что на войну уйдёт. Вот и...

– Нет. Не думай так... а то про других ничего не говорят. Зинка в город убежала. Ребёнка бросила. А тётка Домна? – разошлась Анфиса, сама не понимая, как о ней узнали люди. Может, правда Гришка своим друзьям разболтал. А потом она припомнила, как Глаша Пирогова значительно смотрела на неё, чему значения тогда на летних сборах не придавала. А Дрон, Жора, Пётр как-то оживлялись, стоило ей появиться у них на виду. Они смотрели, конечно, похотливо, но их взоров она не воспринимала никак, словно ничего в её судьбе не изменилось.

– Тихо, тихо, а то идут уже, – быстро шепнула мать.

Немцы в коридоре обивали с ног снег, подняв грохот, как на плацу. Анфиса прилегла на подушку, не желая думать о том, как они лезли к ней под юбку, и её вновь окатили эти воспоминания жгучим стыдом, вызвав оторопь. Именно это она испытала недавно, приготовившись к самому худшему, как к неизбежному. И она подумала, что, наверное, в этот вечер ни одна их девушка не избежала домоганий немецких солдат. Вот и Гордей испугался за Ксению. Ревность наполнила душу смелостью, и он, пренебрегая опасностью, умчался к ней...

Аглая открыла сундук, достала старую библию, которая перешла к ней от отца-священника, у него было много разных церковных книг. Часть он сберёг, а большая часть была уничтожена при обыске чекистами; они изъяли и образа святых апостолов, Иисуса Христа, Божьей матери, девы Марии. Одну икону Николая угодника Аглая спасла уже после смерти отца и взяла её в дорогу, но на новом месте жительства, за Доном, не вывешивала в святой угол, боялась властей. Ведь это было страшное время гонений за веру, разрушение храмов и церквей, уничтожение служителей религии...

Аглая изредка доставала святое писание, читала иной раз вслух детям, чего те сами не делали. Но стоило услышать за двором чужого человека, как она быстро накрывала книгу бархаткой вишнёвого цвета и совала её под подушку. Особенно боялась Елизара Перцева, их соседа, ставшего тогда членом правления колхоза, которого, впрочем, остерегалась ещё до этого.

Перцевы приехали из Липецкой губернии чуть раньше Путилиных; как и они, тоже заняли освободившуюся хату. О прежних хозяевах они не интересовались, так как уже знали – любопытство у людей стало вызывать нехорошее подозрение. Елизар, крупнокостный, высокий мужик, был помимо любопытства нагл, своекорыстен, завистлив, всегда затрагивал Аглаю, блудливо смотрел на неё, хотя его жена Агния была крепкотелая, ядрёная женщина, собственно, подстать Елизару, хваткому, жадному до работы. И вот, пришла на их двор перед приходом немцев похоронка, что будто Елизар погиб. Аглая думала, мол, такие – как дубы,

вечные, потому не верилось в его гибель. Да и Агнию неслышно было, чтобы голосила по мужу, как другие бабы. У неё три дочери: старшая – Нюра, младшая Валя, а средняя – Катя, которая по дороге в низовье Дона отстала, сойдя с поезда, чтобы проведать в станице Вёшинской бабушку (мать Елизара) с тёткой, и у них, говорили люди, осталась на воспитание, так как тётка была бездетная учительница. И был сын Андрей, ростом с отца, а мастью – в тёмно-русую мать.

Буквально за день до прихода немцев Андрею пришла повестка в армию. Но не успел уйти, за ним никто не приехал. А Макар Костылёв не стал брать на себя ответственность за отправку парня в военкомат, встречавшегося с соседской девчонкой Надей Крынкиной.

Аглая среди баб выглядела тихой, незаметной; веселиться она не то что бы не умела, а просто когда-то суровое время, нескладная личная жизнь наложили на неё неизгладимый отпечаток. Да и после потери мужа она уже не думала о себе: как бы детей вывести в люди. И сейчас она думала только о сыне, отсутствие которого немцев пока не занимало, и она была почти спокойна. Впрочем, они были пьяны, наверное, им тоже война не в радость или мужикам-иностранцам хочется выпить. И то верно, чаще всего люди пьют не от горя, а ради удовольствия. И немцы вовсе не исключение. Аглая стала читать библию, которая всегда её отвлекала от тягот жизни и заряжала терпением перед всеми невзгодами. Сейчас ей так хотелось напомнить немцам о Боге, или у них тоже отреклись от веры во Всевышнего? А Спаситель будет судить всех по делам их. Однако страх быть неверно истолкованной в своих намерениях вновь заставил её спрятать библию в сундук. Немцы даже не глянули в её сторону. Один даже чуть ли не падал, и его поддерживали товарищи. В дверь они еле протиснулись, повторяя громко: «Гуд бай, гуд бай, матка!»

Аглая немного понимала по-ихнему, поскольку училась в гимназии. А потом у них на Урале немцы-промышленники хозяйничали: «Скорей бы уже спать ложились, антихристы, и охота болтаться по чужой земле, и чего им тут надо, своих богатств всё мало, а у нас какие богатства здесь, а где полезные ископаемые есть, туда они не дойдут – выдохнутся. Ведь русская земля большая».

Вот немцы показались с улицы и быстро завернули ко двору, вот прошли в горницу. Аглая перекрестилась. Она увидела, что дочь уже тихо спала на полу. Немцы в другой горнице заняли обе кровати. Сначала что-то бормотали, впрочем, говорили о городе, что кого-то повезут туда. Там будет у них концлагерь для военнопленных и аэродром для полётов их самолётов на Северный и Южный Кавказ и на Сталинград. Кажется, мало-помалу они успокоились, и Аглая облегчённо вздохнула. Теперь надо идти искать сына, ведь немалое дитя, а вынуждает мать волноваться. Как же так, за весь вечер о Никоне, ушедшем на фронт, Аглая даже не вспомнила. В последнем письме он весьма скуповато сообщал, что бои ведутся за Харьков, который после, однако, уже был взят фашистами, рвавшимися теперь оголтело к Москве. Но уже давно свежих новостей к ним не поступало о том, что происходило на фронтах...

Глава 11

В некоторых хатах ещё горели огни, была даже слышна немецкая речь. От снега, расстилавшегося белым полотном, хорошо видна дорога, а когда долго находишься на улице, темень как будто отступает, пространство расширяется. Да ещё сквозь облачное небо проглядывает тусклая луна, похожая на хорошо вычищенную крышку от алюминиевой кастрюли. Облака куделью, как распущенная белая пряжа, смещаются куда-то на восток к займищу, где слышалась частая орудийная стрельба. Гордей шёл под самыми дворами, слыша в хатах немецкую речь. Он ощущал гулкое биение своего сердца. Во дворе Крынкиных Гордей услышал придушенный смех Нади, хорошенькой пухлощёкой девушки, за которой бегал их общий сосед Андрей Перцев. Но говорили, что мать Нади ярая баптистка, у себя на родине пострадала за веру, а отец так даже был арестован. Надя казалась немного шаловливой или несколько бес-

новатой девчонкой, не слушавшейся матери, за что та всерьёз обвиняла её, как одержимую дьяволом. Однако в клуб Надя не ходила из жалости к матери, у которой росли ещё две меньшие дочери.

Гордей спешил к Ксении, двор которой от ихнего был четвёртым. Он остановился, прислушался: вдали по дороге шли две фигуры, облачённые в солдатские шинели: то двигался немецкий патруль. Гордей пожалел, что не пошёл огородами; он шмыгнул в деревянную калитку; побежал к глухой стене хаты Глаукиных, куда свет плохо пробивался сквозь оконное затемнение.

У Глафиры Глаукиной на фронт ушли два сына: старший Василий и младший Иван да муж Касьян. Она осталась с дочерьми, с Ксенией и почти годовалой Клавой. Мать Татьяна уже часто болела, но ещё что-то делала по дому. Глафира работала в яслях воспитательницей и няней.

Когда к ним ввалились немцы, Глафира, естественно, испугалась, ведь в доме ни одного мужчины, чтобы за них заступиться. Хотя понимала: разве кто-то может противостоять вооружённым до зубов немцам? В первый же вечер они полезли в курник, и зарубили двух кур, велев ей обработать и приготовить. На дочь Ксению пялились, подходили, заговаривали, но пока не трогали. Их было четверо, какие-то рыжие, страшные, с длинными носами, и отчего-то постоянно ржали. Заставили Ксению им прислуживать и озорно шлепали по ягодицам. Потом брали за руки и тут же с грубым смехом бесцеремонно отталкивали, велев ей сходить в баню...

Гордей ничего не мог хорошо разглядеть в окно со стороны палисадника, так как обычные занавески были задрапированы чем-то ещё. Однако в одну щелку он всё-таки увидел ходившую в передней горнице тётку Глафиру. А Ксении как будто в хате не было, тогда он пошёл вдоль глухой стены, завернул за угол и стал смотреть в хату со стороны огорода, на который выходило два окна. На них висели цветные занавески, поверх которых он ясно видел при свете керосиновой лампы бабу Таню, сидевшую у печи, затем узрел Ксению за столом, державшую сестру. Гордей слегка постучал по стеклу, и Ксения тотчас услышала, – выразительно, в оторопи посмотрев на него. Гордей махнул ей рукой, чтобы вышла к нему. Девушка указала взглядом на сестру, что не может оставить её. Мать увидела странное поведение дочери, она подняла глаза на окно, где пропала чья-то голова в шапке-ушанке.

– Кто это? Нечто Гордей? Ох, батюшки, нашёл время! – Ксения промолчала. – Давай мне ребёнка, а ты выйди – узнай, что он, с какой вестью пришёл? – шепнула Глафира Терентьевна, принимая дочурку.

Ксения быстро надела доху, накинула платок (хорошо, что немцы закрыли проём в ту горницу солдатским одеялом и там галдели по-своему, играя в карты) и, тихонько ступая, пошла в сени, стараясь не греметь щекоткой.

Гордей уже стоял при входе, и вдруг быстро потащил за руку Ксению в сторону огорода. Тихо шёл снег, снежинки белили её чёрную доху, тогда как парень был весь в снегу.

– Ну, ты чего, Гордей совсем меня не уважаешь, заставляешь краснеть перед мамкой. А бабка смеялась, – заговорила шёпотом она.

– У вас много немцев – четверо? А у нас пятеро, все мордатые! Жалко, что некуда нам убежать. По улице патруль ходит. Ты как чувствуешь себя при них?

– Да как можно чувствовать – ясно, что очень плохо. К тому же лезут... но ничего – терплю. Хозяйничают, уже кур потрошат – наглые!

Гордей привлёк молча девушку, обнял, стал целовать влажную и прохладную от снега щеку.

– Да, какие шакалы! Скорей бы их погнали. Ты слышишь, где-то бабахают, может, идут наши полки, – сказал он, трясаясь от холода.

– Ты куда меня тянешь? К скирде – зачем? Что, неужели мы спрячемся от них в соломе? – засмеялась Ксения, начиная упираться.

– Я не допущу, чтобы ты им досталась, я этого не выдержу и что-нибудь сделаю с ними. Ты смотри, перед ними не наряжайся, – нервно говорил Гордей.

Возле скирды с заветренной стороны, он принялся делать нечто дупла, а девушка стояла в ожидании, при этом поглядывая по сторонам. Впереди до самого горизонта простиралось голое заснеженное поле, лаяли глухо и отрывисто собаки. Снег продолжал идти умеренно, как-то задумчиво, снежинки, кажется, повисали в серо-фиолетовом небе и будто на одном месте кружились. Ксения не чувствовала холода, она была готова остаться здесь с Гордеем навсегда, вернее, пока немцы не уберутся восвояси. Но сами они теперь ни за что не уйдут, пока наши не выбьют их из посёлка, а это вероятно произойдёт не скоро, так как армия должна собрать достаточно сил для изгнания врага.

Слова Гордея о том, что он не допустит, чтобы она досталась оккупантам, Ксения оценила двояко. Он не допустил бы надругательства немцев над ней, которое недавно она так явственно представила, отчего испытывала леденящий ужас, что это может случиться дома во время их пьяного шабаша. А ещё немцы могли увезти в Германию и тогда бы они с Гордеем никогда бы не увиделись. И когда он сейчас с такой неудержимой рьяностью начал готовить для неё убежище, это выглядело по меньшей мере трогательно, а по большому счёту – наивно. Ведь они и здесь найдут их, уж тогда лучше совсем уйти из посёлка. Пока она так рассуждала, он вырыл в скирде большое отверстие, похожее на вход в пещеру.

– Давай лезь скорей сюда, – услышала она. Ксения оглянулась на хату, и ей померещилось, будто там кто-то смотрит на неё, и ей стало от этого жутко. Она пригнулась, потом на коленях вползла в черное логово, а Гордей ловко перелез через неё и загородил вход соломой. И стало совсем темно: они не видели друг друга. Но зато было ощущение безопасности. Она инстинктивно прильнула к парню, чувствуя, как гулко бьётся его сердце, как его рука проникает к ней под доху, отчего сердце замирает в сладком дурманящем ознобе и в глазах наступают тяжесть, они непроизвольно закрываются, хотя она и без этого ничего бы не увидела. Гордей подминает её под себя и целует, целует долго в губы, а рука слегка сдавливает упругую грудь и от каждого его движения ещё больше приливает к лицу тяжесть. А им овладевает сущее нетерпение и она плохо понимает, что всё это значит; он без конца тревожит её, теребит грудь; и она почувствовала себя полураздетой, удивительно без ощущения холода, напротив, её обдаёт жар с ног до головы. И она с радостью думает, что сейчас такое время для неё, когда это не страшно, когда можно избежать нежелательных последствий. Собственно, теперь нечего ей терять, уж лучше любимый парень, чем враги, но ей было стыдно так думать и она боится, что Гордей это тоже имел в виду. Да-да, он имел в виду это, от сознания чего её сердце пронзала жалость, что она сразу согласилась на такой шаг, на какой в другое время она бы ни за что не отважилась с лёгкостью падшей женщины. И когда это произошло, Ксения себя возненавидела и расплакалась. Почему она вообразила, что немцы хотели это сделать с ней? Может, она просто поспешила, а Гордею теперь будет противна?

– Вот и хорошо, с этой минуты мы с тобой обвенчаны, – заговорил он. – Я как никогда спокоен. Ты молодец, Ксюха, только успокойся, ведь я тебя безумно люблю, – с этими словами он сильно обнял её и поцеловал в мокрые губы – это слёзы смочили их. Она облегчённо вздохнула, поскольку его слова успокоили опасения Ксении. Однако ощущение досадной, преждевременной потери всё продолжало её страшно будоражить, так как вместе с девственностью она утратила прочную веру в своё будущее, которое отныне она уже не мыслила без него. Но Гордею предстояло ещё идти служить в армию, чем она уже не раз омрачалась, так как с его уходом, казалось, от них уйдёт и любовь. А разлука заполнит сердце. И тогда больше ничто не повторится, впрочем, уже сейчас их первая близость не вернётся в точности во всей гамме сладостных и страшных переживаний. И она была безмерно рада, что, наконец, доставила ему удовольствие собой, что отныне они, как он говорил, повенчаны в такой необычной и в чём-то романтической обстановке. И даже создавалось впечатление, будто войны нет вовсе, они

забылись от страшной реальности, сознание о которой возвращает их из любовных грёз в этот столь беспощадный и суровый мир. А как хотелось, чтобы их страстные, горячие минуты ни на час, ни на день не уходили, чтобы они остались с ними навеки.

Ксения откликалась на его ласки, замирала в его объятиях, словно это их последняя встреча, что больше их свиданий не будет. И они действительно не знали, как судьба распорядится ими завтра.

– Может, так до утра просидим здесь? – спросил важно Гордей.

– Мне никак нельзя, милый, маманя в обморок упадёт. А вообще, я бы с радостью совсем убежала отсюда... с тобой... хоть на край света, только бы их не видеть...

Глафира Терентьевна, укладывая дочь спать в зыбку, думала о Ксении: где она могла с парнем сидеть? В летней кухне холодно, значит, на морозе стоят и согреваются друг другом: по себе это знала, когда любишь, и мороз почти не пробирает. Но вот послышались шаги: из сеней потянуло сильнее холодом. Это Ксения идёт – легка на помине. Вот в дверь тихо прошмыгнула. А глаза почему-то стыдливо прячет, нечто грех уже поимела с парнем...

– Что так долго, охота на морозе? – тихо, ненастойчиво спросила мать.

– Хорошо как, на улице – снежок идёт, – ответила сдержанно Ксения.

– Тебя они спрашивали – сказала, что ты в туалет пошла! – и Глафира Терентьевна показала в досаде головой. – Кажется, улеглись, вдрызг нализались, окаянные, тьфу!

Ксения сняла доху; пока шли от скирды, Гордей отряхивал с неё солому. А в русых волосах, золотой нитью, всё-таки запуталась одна. И сейчас на неё в испуге молча уставилась мать, а потом, волнуясь, опустила глаза, боясь встретиться с взглядом дочери. Вот почему так странно смотрела на неё, вот почему у самой на душе было смутно, пока отсутствовала дочь... Но ей так ничего и не сказала, лишь на лбу тугой думой собрались складки морщин. А бабушка Таня мыла у печи посуду немцев, взглядывая на внучку, как у неё с холода пылали яблочным румянцем щёки и как украдкой что-то искала глазами в горнице. Она тоже увидела в волосах внучки соломинку и легонько поманила её рукой. Ксения заметила неотрывный взгляд бабушки, на которую сейчас в душе злилась, и от волнения у неё заслезились глаза и набежали непрошенные слёзы. Бабушка повторила свой жест и тогда Ксения подошла к ней, полагая, что она скажет, как усмирила немцев своей заговорной молитвой, чему, бывало, подучивала внучку. Однако бабушка велела наклонить к ней голову и вытащила из её волос соломинку, при виде которой Ксения покраснела, а бабушка заговорщически подмигнула. Глафира Терентьевна сбоку от стола смахивала с клеёнки крошки и кожуру картошки, и краем глаза видела всю эту сцену, решив не донимать дочь расспросами. Пусть сама отвечает за свой проступок, если считает, что у неё просто не было иного выхода, а может, это всё к лучшему: понесёт ни от кого-нибудь, а от любимого парня. Война всегда ускоряет любовь, что-то с людьми в такой момент происходит непонятное – все ограничения побоку и стыд не в стыд, а любовь просветляет чувства, укрепляет отношения. Всё это она познала на своём опыте...

– Чаевничать будешь? А то всё убрала, – спросила мать как ни в чём не бывало.

– Не хочу, лучше пойду спать, – ответила Ксения, посмотрев на сестру, спавшую с раскинутыми ручонками и с согнутыми ножками, причмокивая во сне розовыми, влажно блестящими губками.

Незадолго перед войной отец построил баньку, примыкавшую к сеням. Однако из-за нехватки дров в ней мылись редко. Она была выстроена из ракушечника, просторная, как горница, с двумя окнами. Летом в ней спали братья. И сейчас Ксении захотелось уйти в баню, но там было очень холодно. Зато имелся тулуп, в который можно завернуться двоим. В горнице стояли две кровати: на одной спала Ксения с бабушкой – на второй – мать; отец тоже спал один, а братья – вдвоём в той же горнице, где сейчас дрыхнули немцы. Когда она бывала в клубе, а братья служили в армии, родители спали вместе, тогда как при всех детях – в разных местах. На родине изба была довольно просторная, с отдельными спальнями, они так удобно

размещались, что никого не стесняли. А тут из-за недостатка строительных материалов хаты получались скромней, с двумя горницами и сенями. Вот и приходилось тесниться и стеснять друг друга.

– Я спать пойду в баню, – вдруг сказала она, помня, как немец посылал её туда вымыться, чтобы потом ею забавляться. Но она и без них знала, что после работы на ферме не помешает освежиться. А сейчас она об этом не думала, так как усталость валила её с ног. И вдобавок хотелось побыть наедине и собраться с мыслями к завтрашнему дню. Она знала, что Гордей сейчас находится в мыслях с ней, Ксенией. И она на время пожалела, что не предложила ему ночёвку в бане и сама не устыдилась своего желания, чего раньше с ней не происходило. Неужели уже привыкла к первому греху, и он уже не кажется ей чем-то постыдным, а наоборот, влекущим, притягивающим опять к себе, как магнитом.

– Там же холодно? – удивлённо спросила Глафира Терентьевна, глядя смущённо на дочь.

– Ничего, а в хате слишком мне жарко, я тулуп возьму, – и Ксения пошла в сени, где висел тулуп. Её обдало холодом, она нащупала грубошёрстную овчину и сняла её. Сбоку деревянного ларя дверь вела в баню, куда спускались две ступени. Здесь был сколочен жёсткий топчан, покрытый тюфяком, а под ним шелестело сено. В окошко, выходившее на огород, сеялся бледный свет. Ксения услышала шум. Вошла мать, освещая себе путь керосиновой лампой. Здесь, за печкой, в мешках хранилось зерно, на столе стояла сальная свеча, которую от лампы зажгла мать. В бане хранилась и макуха, и отруби, и всем этим пахло вперемешку с пылью и сеном.

– Неужто в хате нет места? – спросила Глафира Терентьевна, взяв тулуп, прижав к себе, чтоб хоть немного согреть его собою.

– Мама, ступай себе, я сама знаю. Противно мне от одной мысли, что они там, – и пожав плечами, Глафира Терентьевна молча ушла. А Ксения вскоре легла с новым для себя чувством, что стала женщиной, почти не ощущая холода...

Часть вторая

Глава 12

Над посёлком Новым неспешно занимался рассвет, словно нарочно тянул время, тем самым давая людям хорошенько обдумать своё поведение в условиях оккупационных властей. Однако над хатами уже вовсю курились серыми дымами трубы. Небо казалось ещё иссерофиолетовым, застывшим; на востоке оно отливало как бы жидким серебром. И снег шёл нехотя: снежинки кружились, зависнув на какое-то время, а потом их подхватывал набегавший ветерок и лёгкой метелицей вращал над землёй, создавая сумеречную видимость бесконечно тянувшегося степного пространства. За ночь снегу насыпало порядочно, немецкая техника сливалась с заснеженной землей. На улицу из хат выскакивали голые по пояс немцы, дерзко, игриво обсыпали друг друга сухим, рассыпчатым, как мука, снегом, издавая звонкоголосое чужеземное ликование...

Хаты издали, казалось, этак настороженно, зябко нахохлились соломенными или чаканными кровлями. Через некоторое время от клуба, по ту сторону улицы, поехала небольшая бронированная машина, из которой в громкоговоритель, на ломанном русском языке с акцентом, мужской голос призывал население посёлка собраться на поляне для ознакомления с новым германским порядком. Бронетранспортёр объехал всю улицу по обе стороны балки...

Солдаты, при полном боевом снаряжении, выходили из хат и потянулись к своей комендатуре, размещавшейся в школе. Люди, видя такое дело, что немцы уходят от них в полной воинской амуниции, не оставляя в хатах никаких вещей, про себя радовались, что они как будто покидают их совсем, хотя некоторые солдаты говорили, и что они к ним ещё вернуться, или просто так шутили. А бабы даже крестились: кто открыто, кто украдкой, словно изгоняли из дворов нечистый дух...

Громкоговоритель сильно напугал людей: некоторым набожным бабам показалось, что это сам Господь заговорил с ними. А когда разобрались что к чему, стали плевать, как на антихриста. Вот когда вспомнили с сожалением, что в своё время власти отбивали охоту верить в единственного спасителя мира, чтобы уверовали неистово, также самозабвенно в новых вождей, ведших народ к коммунизму, который библия называет раем. То, что их обманывали, знали далеко не все, но многие недоумевали, что многовековую веру хотят заменить какими-то зыбкими обещаниями. Как бы её не исполняли, как бы её не придерживались, однако Бога почитали. Во все времена библейские заповеди нарушались: люди совершали кражи, грабежи, убийства и другие тяжкие грехи, за что в той или иной мере рано или поздно их настигала кара небесная.

Нашествие немцев некоторые люди воспринимали как наказание Господнее за отступление от веры, за искушение антихристом. Но что же они могли сделать, коли самозванная власть держалась крепко, выставляя себя самой справедливой, самой народной и будто не ведала, что говорила одно, а делала совсем другое – противное человеческой природе.

Первый страх перед неведомым доселе врагом с фашистским клеймом в виде страшной чёрной свастики, как будто прошёл. Теперь оставалось приспособиться к их насаждаемым порядкам, о которых посельчане ещё не имели ясного представления. Впрочем, они только собирались познакомить народ со своими порядками, пугавшими своей непредсказуемостью и неизвестностью, наводившими тем самым ужас. И ещё не зная, что они конкретно предлагают, люди предчувствовали, что бы немцы не навязали им, в любом случае надлежит, похоже, выполнить.

И через какое-то время народ потянулся из своих натопленных хат на улицу: и смотрели соседи на соседей – кто первый из них пойдёт к клубу. Бабы уже утирали слёзы, глядя на дочерей и сыновей. Некоторые говорили, дескать, лучше бы ушли на фронт, чем тут прислуживать врагу. Немцы требовали выходить и подросткам, и взрослым, словом, от мала до велика, а кто не подчинится, тех приведут под конвоем.

Екатерина Зябликова, однако, меньшим сыновьям не велела идти, чтобы сидели и не высовывали носа из хаты. И она, не глядя на соседей, с Ниной и Денисом пошла к клубу. Прасковья Дмитрукова спросила:

– А Витьку и Борьку оставила? Можя и я Брану оставлю, как ты думаешь, Катя?

– Это дело твоё, хозяйское, мои-то ещё маленькие, ростом ещё не взяли. Хватит им и троих, – ответила Екатерина.

– Ой, ой, что же делать, что они удумали? – сокрушалась Прасковья, глядя своими зоркими круглыми серыми глазами. Она была худая, несколько сутулилась, хотя выглядела ещё не старой. Её дочери, стоя рядом с матерью, смотрели настороженно, пугливо.

– Пойду и я, не хочу дома торчать, – настырно сказала Брана.

– Сиди, скаженная! – замахнулась Прасковья, уставившись глазами на ту сторону улицы, по которой вышагивали люди и, удостоверившись в этом, она качала головой. Там Серафима Полосухина со Стешей направились к клубу. Галина и Паша Мощевы, Соня и Валя Чесановы, а самой Анны, их матери, почему-то не видно: нешто заболела или придёт после. И Прасковья тоже пошла с дочерьми позади Екатерины, Нины и Дениса.

Ещё до обмена хатами, произошедшего незадолго до начала войны, Екатерина недолюбливала Прасковью за её всеядное стремление лезть в душу, встревать в дела, и ещё у неё была склонность сплетничать и оговаривать. Хотя в то время она соприкасалась с ней лишь по работе в полевой бригаде, да и то старалась по возможности не заговаривать с Прасковьей. Однако та норовила сама затронуть, с удивительным умением располагать к серьёзному разговору, правда, касавшегося дела. И всегда она норовила давать ей какие-то советы, в которых Екатерина, собственно, и не нуждалась, хорошо разбираясь в огородном деле. Но Прасковья, зная это или не зная, всё равно стремилась подучить, да так, будто никто лучше чем она не обрабатывает, не выращивает огородные культуры. А потом Екатерина заметила, как Прасковья, бывало, при удобной минуте, а то и сама, шла к Макару со своими практическими предложениями, как повысить урожайность, улучшить обработку почвы и вносить удобрения и неизменно жаловалась на неё председателю за то, что Екатерина не берёт во внимание её советы. Об этом Екатерина узнавала от Зинаиды Рябининой, как однажды Прасковья в открытую говорила Костылёву, что если бы она, Прасковья, была звеньевой, тогда бы урожайность возросла значительно, а Зябликова работает по старинке.

Но, видать, Костылёв не внял её наговорам, измышлениям и не заменил Екатерину Прасковьей, которая, говорят, после этого затаила личную обиду на председателя, став активнейшей агитаторшей за то, чтобы бригадир Корсаков сменил председателя Костылёва. Возможно, так оно и было, вскоре после отречения Макара Прасковья примкнула к окружению нового председателя. И многие полагали, да и Екатерина тоже, что она своего всё равно добьётся – станет звеньевой огородной бригады. Но Корсаков, правда, почему-то не торопился угождать услужливой бабе. Хотя было видно, что подхалимов он не очень приветствовал и не осыпал своими благодеяниями. А Прасковья, с восшествием Корсакова на председательский пост, почувствовала себя настолько уверенно, что уже представляла себя звеньевой, начав даже помыкать Екатериной. Но Зябликова не поддавалась, ставила ту на место, из-за чего между ними вспыхивали перебранки. Однако война всё переиначила, и Костылёв вновь встал у руля колхозного штурвала, когда Корсаков ушёл на фронт. И Прасковья враз притихла, начав опять перед Екатериной несколько заискивать, даже угождать. Но вскоре Зябликова и Дмитруковы стали соседями, и Прасковья на первых порах вела себя так, будто они родственники. Почти каждый

день Прасковья приходила к Зябликовым, норовя подсказывать, как можно лучше обустроить подворье, чего никак не переносил Фёдор Савельевич. А потом грянула война, их мужья ушли на фронт. Прасковья, однако, реже, но всё равно навещала Екатерину и обязательно с какой-нибудь новостью о войне, что уже немцев где-то разбили и к зиме война закончится. Екатерина полагала, что Прасковья все эти победы выдумывала сама или искажённо воспринимала сообщения по радио, а где она могла его тогда слушать, было неизвестно.

Когда Прасковья получила на мужа похоронку, что было ясно по характеру её плача, Екатерина сама пошла к соседке, между прочим, первый раз за три месяца жизни на новом месте. Разумеется, Екатерина сопереживала горю Прасковьи и старалась успокоить её, что, может, Изот жив, просто прислали похоронку по ошибке, таких Изотов Дмитруковых на Руси много. Но Прасковья сослалась на увиденный накануне сон, будто он просил больше ему не писать, так как у него нет воинской части, что теперь он принадлежит вечному воинству, оберегавшему солдат пехоты. И вот Прасковья тотчас сообразила, что муж, говоря об отсутствии у него воинской части, подразумевал под этим одно, – дескать, он был уже убит. Ведь он даже ещё указал своё постоянное место: в лесу, среди молодых сосёнок, под песчаным холмиком...

Прасковья иной раз даже вникала в личную жизнь девок, зная, с кем какая девушка встречалась. Когда её дочь Маша сдружилась с Алёшей Жерновым, Прасковья при первой же встрече ляпнула Екатерине, что её Нина прозевала Алёшу вовсе не случайно, что ей понравился Дрон, которого она якобы подстрекнула к избиению Алёши, если он хочет встречаться с нею. Екатерине последнее суждение Прасковьи переполнило чашу, она прямо сказала, что Нина на подобные выходки вообще не способна. Хотя она сама тогда точно ничего не знала, из-за кого конкретно дочь рассталась с Алёшей. Но только не из-за того, что Фёдор не одобрял её увлечения сыном своего недруга, так как дочь руководствовалась в своих поступках вовсе не запретами отца, а своими чувствами. Конечно, Прасковья всегда расхваливала своих расторопных, работающих дочерей, а её Нину заметно принижала, говоря иногда, как бы промежду прочим, что Нина медлительная, но любую работу, однако, выполняла добросовестно и умело. Последнее она прибавила ради красного словца, мол, им, матерям, есть кем гордиться. Однако из-за Нины Екатерина и разругалась с Прасковьей, оговорившей дочь незаслуженно, почти преднамеренно, что Маша больше пара Алёше, чем Нина, которая по этой, дескать, причине перестала ладить с Машей. И до сегодняшнего дня Екатерина не разговаривала с Прасковьей, которая, впрочем, затронула её сама, когда надо было идти на поляну, где уже стояли кучками люди...

Глава 13

Макару Костылёву было приказано явиться утром в немецкую комендатуру. Костылёв, подавляя страх, пришёл; ему было приказано, как руководителю колхоза, предъявить немецкому командованию список всех жителей посёлка, куда должны быть внесены все дети от грудного возраста и далее по старшинству. В общем, переписать всё население поголовно и вручить его тотчас же коменданту, фамилии которого Макар, как ни повторял вслух, так и не запомнил. На составление списка ему дали два часа, и он не знал, что ему делать...

От немцев Костылёв пришёл домой совершенно подавленный. Едва он объяснил жене, что произошло, Феня, видя, что муж весь побелел, а губы и руки дрожали, сама взялась за список, подозревая Шуру:

– Давай с тобой вспоминать всех наших людей, не то отца обвинят, что не хочет им служить...

– И себя тоже записать? – тревожно произнесла падчерица.

– Наверно, а может, и не надо? Что они всех пересчитывать будут? – задумчиво ответила она.

– Значит, мы часть пропустим, хотя бы самых маленьких...

– Ох, а вдруг они поймут? Что же делать? А ежели они тут надолго? Нет, всех запишем и себя тоже. Если отец будет старостой, он нас спасёт...

И такой список они подготовили, в котором было больше двухсот человек. Когда Макар прочитал, он сказал, что нужно вписать и тех, кто был на фронте. Их пришлось приписать ниже. И Макар, спрятав в боковой карман несколько исписанных страниц из школьной тетради, понёс с таким чувством, будто предавал своих земляков, что иначе и нельзя было истолковать. Но другого для себя выбора он не видел.

Немецкий майор, плотный, коренастый, но стройный, с энергичным, самодовольным холёным лицом, выдернул из рук мужика бумаги, подававшего их с явным нежеланием, выразив на смуглом загорелом с лета лице крайнее огорчение и робость, что всегда случается с людьми, когда вынуждены поступать вопреки своей воле.

– Гуд! Оччень карошо! – воскликнул офицер, глядя на Макара искрящимся уверенным взглядом. – Ти Костилёв? Гуд! Ти старост – не пойдёшь, ми назначаи старост по добровольности. А ти, Костылёф, управляй общиной колхоз, арбайтен, ми не будем распускать вашь колхозь, а служить Германий с твоим народом позволяем. Наш порядок – дисциплин. Свободу от большевик принёс германский зольдат...

Затем майор подал Макару белый лист бумаги с обращением к народу германского командования на русском языке. Костылёв нехотя взял, бегло скользнул глазами по жирному шрифту с изображением выше заголовка орла и свастики, и на него дохнуло чужеродным гербом, который таил в себе нечто зловещее, угрожающее, насаждающее, одним своим видом бесправие, подневольность, замешанные на страхе.

– Ти, наш требований прочитай всем колхозник, гуд?

Макар слегка кивнул, стараясь не глядеть на офицера, но его лицо приняло холодный и непринуждённый вид, что ему удалось, прямо скажем, с чрезвычайным трудом. Он понимал, что прислуживать врагам подло, нечего тут кривить душой ни перед собой, ни перед людьми. Однако председатель знал, что этого не избежать и даже не представлял, что ему делать дальше, отчего несколько потерянно и вопросительно взглянул на офицера.

– Иди к своим граждан с этим документ, я приду скорё! – возвестил офицер.

И Костылёв поплёлся к клубу, где намечался сход и где уже собирался народ. Он увидел своих: жену Феню, сына Назара, дочь Шуру, почувствовав как никогда свою ответственность за их дальнейшую судьбу. Собственно, то же самое он испытывал и в отношении других людей. Он видел, что все они стояли как-то порознь, будто не видят друг друга, стояли своими семьями. Макар подошёл, поздоровался со всеми, и люди, как по команде, стали подтягиваться к нему, глядя выжидающе, настороженно, боясь спрашивать то, с какой вестью он пришёл от немцев. Чуть поодаль лениво, со скучающим видом, стояли немецкие солдаты и курили, переговаривались и смеялись, живо оглядывая девок, что-то им показывали.

Люди собрались почти все: и девки, и ребята, и женщины, и старухи, старики. Хотя последних было не столь много: дед Климов, дед Осташкин и ещё несколько. Кто-то остался сидеть дома с маленькими внуками. Екатерина видела, что бабы пришли и с меньшими детьми, а её остались дома, но такая она была не одна.

– Я не знаю, что они замышляют, – скрипучим голосом сказал Макар Пантелеевич, – кажется, наш колхоз останется, будем так же работать, как и работали. Думаю, в этом наше спасение, ведь без вас колхоз не может существовать. Трудитесь с верой, что для себя, и выходите все, а сейчас их комендант что-то скажет вам. – Макар неловко замолчал. Люди вздыхали, переминались с ноги на ногу. Ребята подходили к девкам, заговаривали о том о сём, улыбались, смеялись, отпуская какие-то шутки, остроты. Ксения пересматривалась с Гордеем; Маша смотрела на Алёшу, Анфиса переводила взгляд с одной кучки людей на другую. Дрон помахал ей рукой, сейчас Нина его почему-то не интересовала, и отношения с которой равнялись

нулю. И он думал, что пора заняться Анфисой, чем он хуже Гриши, хотя Танька Рябинина явно неровно дышала на него, бывало, часто к нему подкатывалась. Шура Костылёва при его взгляде важно отворачивалась, и он её ненавидел. А Надька Крынкина смотрела на ребят так, будто раньше их никогда не видела. Она была пухлощёкая, с озорным блеском в глазах, прижимала бережно к своему подолу двух своих сестрёнок.

Андрей Перцев важно, степенно, как старик, прохаживался подле неё, словно оберегал девушку от посторонних взглядов. Но, к сожалению, девушка его почти не замечала. Однако Надька уловила взгляд Дрона, уставившегося на неё своими колючими глазами, и она тоже воззрилась на него, пытаясь понять, что ему надо от неё? С Дроном, если вдруг случалось с ним где-либо встречаться, она не разговаривала. Хотя находила парня по-своему интересным. Зато Дрон мог легко затронуть её, но с одними и теми же подковырками по поду того, что мать была баптисткой, приучившей её к своей вере. Но ещё учась в школе Надька уяснила, что религия мешает людям свободно жить, что она давно стала пережитком прошлого. Словом, в понимании девчонки религия была не в моде, её объявили вне закона, а главное, эта вера считает любовь дьявольским наваждением.

Надька видела, что и мать, оторванная ещё на родине от своих сестёр по религиозной секте, работая здесь, на птичнике, вращаясь среди менее набожных женщин, сама уже утрачивала своё божечтимое рвение. Она уже не с тем послушанием, как бывало раньше, ежевечерне становилась на молитву, беря с собой в горницу дочерей. Единственно с соседями почти не зналась, живя практически отшельницей, и в посёлке их семья была малозаметна. И только старшая дочь отошла от её веры. Но и с молодёжью ещё не сошлась, никак не преодолев в себе косное мышление. За последнее лето девушка вытянулась, похорошела и обещала быть статной, красивой. Но уже сейчас всё у неё оформилось: и грудь, и фигура, чего, кажется, она в полной мере ещё не осознала. Вот и соседского парня она серьёзно не принимала, думая, что Андрей с ней только шутил. Хотя у самой уже появлялись мысли о своём парне, представление о котором у неё вряд ли ещё сложилось. Андрей был несколько неуклюж оттого, что не по возрасту располнел, но вполне располагал к себе приятной, покладистой наружностью. Подбородок у него как-то окладисто заворачивался, чем невольно даже смешил.

Дрон всё продолжал сжегивать на неё свой нагловато-острый взгляд, лукаво кривил губы, выдувал в её сторону струю дыма от папиросы. Это увидела Маша Дмитрукова и вдруг, немотивированно для окружающих, засмеялась. Прасковья вскинула на дочь недоумённый, полный испуга, взгляд.

– Да ты чи сказалась, што ли? – придушенно прикрикнула мать, замахнувшись на Машку, которая отстранилась от матери, нисколько не теряя весёлости.

Надька перевела взгляд на Машку, думая, что та хотела обратить внимание Дрона на себя. И это ей почти удалось, так как не только он глянул в её направлении, но и другие люди: особенно парни и бабы, находя при этом её выходку нелепой и непонятной.

Сёстры Дрона стали раскачивать брата, точно пытаясь таким образом образумить его, хотя сами вместе с ним смеялись. А все трое они вызывали негодование у своей матери. Марья по очереди хлопала их по спинам. И толпа людей, скованная страхом неизвестности, враз ожили: лица людей осветились радостными, удивлёнными, ехидными улыбками, а некоторые старики потешно хватились за животы руками и смеялись, словно на цирковом представлении.

Снег вдруг перестал порхать, изредка ветерок резво набегал, поднимая позёмку по снежному насту, отвердевшему за прошлые дни. И наметались свеи, а под заборами дворов, клуба, школы росли сугробы островерхими козырьками, закруглявшимися во внутрь, и создавались затишки. Голые тонкоствольные топольки без конца раскачивались на сухом колком ветре, обжигавшем лица людей.

Пока бабы подходили друг к другу и о чём-то переговаривались, Дрон улучил момент и поманил к себе Надьку. Она не верила, что он зовёт её, а не Машку или Таньку. И тогда

девушка вдруг по наитию двинулась к нему, шедшему к ней навстречу. Вот они сошлись к неопишуемому удивлению всех людей, что заставило Андрея воззриться на новоявленную парочку, так, будто она вытащила у него кошелек, чтобы передать Дрону.

– Слушай, Надюх, есть дело, а давай заведём дружбу, чего нам шараться, ты такая деваха, что закачаешься! – проговорил несколько вальяжно Дрон.

– А ты попробуй, если такой смелый, – засмеялась она, оголив белые ровные зубы.

– И попробую, вот как немцев шуганем!

– Кто их отсюда прогонит, пока наших нет, – удивилась девушка. – Пойду я, а то мать смотрит.

Но в этот момент Андрей очутился двумя прыжками рядом и с ходу двинул в ухо Дрона, отчего тот не устоял и свалился в снег. А потом Андрей саданул его ногой в спину. И следом толкнул слегка Надю.

– С ума спятил, лешак таёжный! – вскричала звонко девушка. Дерзкий, разбойничий поступок парня застал всех врасплох, что люди не сразу поняли: и из-за чего на девушку налетел Андрей? Ведь для многих его отношение к Наде было неизвестно. Это происшествие немного отвлекло всех от своих нелёгких дум...

– Иди, шальная, а то тебе матка ещё добавит! – буркнул недовольно парень, и его лицо покраснело.

– Я тебе кто – жена? – огрызнулась она с долей обиды.

Андрей толкнул её опять, а в это время Дрон поднялся, отряхнул с фуфайки снег. Нагнулся за шапкой, ощущая как будто полную контузию. Ухо звенело, отдаваясь тугой болью. Голова враз отяжелела давящими ощущениями, словно кто-то мял её в руках, как тыкву. Дрон про себя ругнулся, весь бледный. Сквозь толпу на него взирала настороженно и удивлённо Нина, и ей было почему-то неловко за Дрона. Хотя она видела, с какой одержимостью, будто ей назло, он разговаривал с Крынкиной. Своим поступком он хотел вызвать у Нины ревность, а получилось наоборот, просто поставил себя в унижительное положение.

Дрон, не глядя на Нину, зло сплюнул, решив, что такой подвох себе не простит, а Перцеву всё равно отомстит. Его дружки Жора и Пётр сейчас были не с ним, они даже носа не высывали, спрятались у маток под юбками. А ведь подбивали его, Дрона, уйти на фронт добровольцами. Но он не согласился, а у них самих духу не хватило, оказались трусами. Дрон достал папиросу, между прочим, немецкую, которой его угостил вражеский солдат. Вчера они устроили кутёж, увидев русскую гармошку, солдаты заставили его на ней играть. Но немецкие наигрыши ему были незнакомы, и тогда по их же заказу наяривал русские плясовые. Мать, видя, что он выделялся с немцами за компанию, неистово крестилась. Дочерей спрятала в чулане ещё до прихода немцев и потом носила им туда ужин. Солдаты оказались нелюбопытны и небдительны, балаболили и на своём, и на ломанном русском, хотели, чтобы Дрон привёл им русских девок, и смеялись же над своей затеей. Даже предлагали вступить в их армию, но Дрон прикинулся непонимающим, понимая между тем, что немцы говорили несерьёзно, даже с какой-то издёвкой, словно пытались таким образом вызнать его настоящий патриотический настрой, верен ли он своей родине. Собственно, его ни одна армия не прельщала, но от воинского долга он не собирался уклоняться. И теперь не знал – призовут ли его когда, но в ближайшее время точно был уверен – не призовут.

Глава 14

От школы энергично, решительно шагало несколько немецких офицеров. Подойдя к выгону, они остановились в нескольких шагах от толпы людей, которые в миг замерли, обратив всё своё внимание на оккупантов. Мальчишки, одолеваемые крайним любопытством, проталкивались сквозь толпу поглазеть на высоких немецких чинов.

Бабы не смогли удержать сыновей. Екатерина, к своему ужасу, увидела среди других мальчишек своих сорванцов и обомлела. Но она так сильно переживала за сыновей, что даже не хотела, чтобы это поняли дочь и сын, которые стояли с ней рядом. Они тоже увидели братьев и взглядами сказали матери, что в этом ничего страшного нет...

Немецкий офицер обратился к населению с небольшой речью, смысл которой сводился к тому, что немецкая армия не воюет с простым народом, они, немецкие солдаты и офицеры, принесли им настоящую свободу. Никто не пострадает, если не станет вредить германскому командованию, и они здесь как освободители от большевиков. Весь порядок, существовавший до прихода германских войск, к которому люди привыкли, сохранится и впредь. Немецкой армии нужны продукты, провиант, а большевики уничтожили колхозное поголовье скота, чтобы им не досталось. Отныне всё производимое в колхозе будет передаваться немецкой армии. Солдаты и офицеры, расквартированные по домам, становятся на продуктивное довольство по согласию хозяев, за что немецкое командование вынесет им благодарность как служителям третьего рейха. Немцы обещали научить их жить по-германски, люди не должны верить советской пропаганде, называвшей Германию истребительницей славянских народов. В начале войны с большевистской Россией были уничтожены массовые очаги сопротивления германским войскам, и для германского народа война скоро закончится победоносно. Отныне и навсегда Германия и Россия будут жить вместе как единое государство...

Люди внимали лживым обещаниям вражеского офицера безропотно, не издав ни одного звука протеста, хотя по их застывшим хмурым лицам, полным внутреннего напряжения и отчаяния, было видно, что немцам никто не верит. А у кого-то появился даже испуг, у кого-то негодование, что враг ведёт себя чересчур самонадеянно и за них решает их судьбы. И сейчас офицер должен сказать то главное, ради чего собрал народ, не выслушивать же только восхваления своей армии. Никто не просил их освобождать, так как это их личное дело, как относиться к советской власти. И вот офицер начал говорить о том, какая постигнет судьба людей с этого дня, если не станут выполнять их требования.

– Ви все будете служить Германий, – продолжал между тем офицер. – Ми не повезём вас в Германий. – Как только он это сказал, толпа несколько зашевелилась, задвигала ногами на месте: – Ми не каратель, ми фронтовой зольдат интендантский часть. На нас возложена важный миссий и продовольствий и ми вас призываем оказывать нам всяческий содействий. Из ваших человек ми назначай старост на добровольных начал. Итак, кто из вас хочёт сказать слов? – он решительно обвёл глазами толпу, где преимущественно были почти одни женщины, не считая девок, парней, детей и подростков. Но все молчали, робко глядя на офицера, который сейчас остановил свой взор на костлявом, высоком старике Никите Андреевиче Осташкине. Затем он увидел Костылёва, стоявшего почти в первом ряду.

– Костилёф, ком я вольт, бите! – поманил его рукой, и Макар Пантелеевич нехотя пошёл. Когда он остановился перед офицером, доставшим из кармана листок бумаги и заставил его читать список, председатель с облегчением понял, что ему не надо читать воззвание, которое лежало в его кармане, так как в своей речи офицер уже изложил своими словами то, о чём там говорилось. И Костылёв, приглушённым от волнения голосом, стал называть людей по списку, а немец приказал выходить и становиться в стороне от всех остальных...

Список открывался его членами семьи, что для многих явилось неожиданным поступком председателя, не сделавшим поблажки для своих родных. А ведь вполне мог назвать их в числе последних, но решил не рисковать своей репутацией, чтобы не навлечь на себя осуждение и презрение людей. Когда Костылёв назвал всех, он почувствовал во всём теле жар и лихорадочное состояние оттого, что будто подверг людей телесному наказанию. Потом офицер заговорил сам:

– Карошо! А теперь кто желает быть старост? Костылёв? – обратился он к председателю. – Сегодня ви рабатай в колхозе карошо! Ню, кто хочет бить старост иль никто? Плёхо, плёхо! Ми тёгда подскажем кто... – он не договорил, так как из толпы вышел старик Осташкин.

– Ну, чаво там, – просто сказал Никита Андреевич, приосанившись, выпрямляя спину и приглаживая рукой роскошные усы.

– Ти казак? – спросил офицер зачем-то.

– Не-ет – ответил важно Осташкин.

– Карошо! Этот ваш староста! – обратился офицер к людям. – Как тьебя зовут?

– Я Осташкин Никита Андреевич. Могу ли я узнать, господин офицер, – начал старик. – Должен ли я своих односельчан защищать от мародёрства ваших солдат?

– О, бите! Ми этого не допускай, а ви защищай, – горячо сказал офицер. – Ти умный старик, карошо служи Германий. Ти отвечай за любой собитий в посёлка. Докладывать всё мне, что творят твоя люди вредного против немецкий зольдат.

Затем офицер сказал, что с завтрашнего дня молодёжь поедет на работу в город, и будет там находиться. Кто туда поедет конкретно, вечером узнают от старосты. А пока все могут расходиться по своим хатам, чтобы потом идти в колхоз на наряды, которые распределит председатель.

И люди немного сразу повеселели, что в условиях оккупации их жизнь пока кардинально не изменится. Офицер позвал Костылёва вместе со старостой следовать в комендатуру. А люди стали уходить, разделившись на две стороны улицы. Екатерина, как и другие женщины, присматривала за детьми, чтобы ненароком не убежали поглазеть на невиданную немецкую технику. Бабы шли и обменивались впечатлениями от всего того, что недавно слышали. На той стороне улицы слышался грубоватый голос Домны, резкий смех Зины Рябинкиной, а её поддерживала Василиса Тучина.

– Натаха, чи то твоя подружка Домна раскудахталась? – спросила Прасковья, идя с ней.

– Пуцай тешитса, иж как напугали немчуры, у меня до сих пор ноги, как ватные, – ответила Натаха Мощева. – Ой, сколько страху напустили, а нам баяли такие-растакие, звери! Вешают, расстреливают, в плен уводят, а вони вон как удумали...

– Дак, ежели им чё не так сбалакаешь, и заметут за милую душу, не-не, надоть немymi быть, – говорила Прасковья. А другие бабы прислушивались к ним и молчали. – А чего же вон как его, Осташкин, назвалса, кто его тянув за язык? Макарка-то увэсь заробив, бел, як сметана.

– Чего-чего, а того, мужиков нет, и сам захотев выслужиться перед немчиной, а ён мужик их ахвицер ладный и на зверя не похож, да все они и нечаво. Ой, и чаво я раскрываю хлебало, молчала бы, так нет, – посетовала Натаха Мощева, качая головой и между тем про себя подумала: «Ежели ба Афанас був, дак, ён и сам к ним пошёв бы, сумев к сытой власти притулиться и уйти от неё с кушем, и к немчирной тоже ба прилепился.»

И шли уже дальше молча, загадывая, как им поступать с хитринкой для себя, чтобы немцев не раздражать

Глава 15

Домна Ермилова, живя вот уже который год без мужа, потеряла вконец совесть и стыд. У неё вчера стояли двое немцев, совсем ещё молодые. И от этого ли в ней, как у молодой кобылицы, налётом взыграла кровь, и она в полурастелешённом виде ходила по горнице перед немцами, которые устроили пир горой. Она им сама постаралась приготовить сытный ужин, поставила самогон. Но немцы покрутили бутылку и так и этак, понюхали и страшно кривились от крепко-зловонного запаха сивухи. Затем посмеялись, что у русских самогон ходовой напиток и остереглись заправляться им. Однако, приличия ради, выразили находчивой хозяйке неподражаемый восторг и ретиво достали флягу с немецким шнапсом, запах которого, в срав-

нении с самогоном, разумеется, почти не улавливался обонянием, растекавшийся по горнице, как приятный аромат.

Домна почти тут же почувствовала незнакомый чужеродный напиток, своим тонким запахом он порождал в душе странное, полное тоски томление, и тут же появлялся страх, что вот она одна сидит в окружении немцев, смотревших на неё вдобавок несколько свысока, лишённых напрочь мужского обаяния. Они действительно внушали какой-то суеверный страх, эти неведомые, непредсказуемые в своих иноземных повадках существа. Домна пыталась стряхнуть это жутковатое наваждение, какое они вселяли в неё, отчего сознание её погружалось в их мир всё глубже, и вот она уже находит немцев гостями почти желанными. Они пригласили её выпить с ними за компанию. У Домны прельстительно, угодливо загорелись зрачки, она вся сияла, как молодая девушка перед своим единственным кавалером. Немецкая водка показалась горько-сладкой, как судьба и любовь, словно идущие вместе рука об руку. Её щёки разрумянились, в голове разлилось хмельное кружение. Солдаты уплетали сало, лук, солёное говяжье мясо в отварном виде и картошку политую топлёным маслом. Они болтают по-своему весело, когда обращаются к ней, вставляют русские слова.

– Хлопцы, как же вас звать? – спросила Домна, глядя на них поочерёдно, нежно улыбаясь.

– О, меня Ирван, а его, – указал на своего напарника, – Клаус, а ты, битте, ктё, матка?

– Чё, рази я такая для вас уже старая, хлопцы, – сказала она. – Домной была всегда, а водка у вас дюже хорошая, а моей, значитца, забрезговали?

– О, найн, ти молодой баба, а киндер – найн? Муж пуф-пуф в немецкий зольбадт, я-я? – спросил Ирван, и погрозил ей пальцем.

– Не-не, мой мужик, там... в тюрьме, загремел давно по своей дурости! – произнесла она. Но немцы, видно, не поняв её слов, только вежливо улыбались.

В хате у Домны как всегда было чисто, все предметы на своих местах, ни одного лишнего. Хорошо натоплена печь, от которой шло ощутимое тепло, растекаясь по обеим горницам. В передней стояла всё ещё кровать дочери, о которой Домна с начала войны ничего не слышала. Она уже забыла к матери дорогу, и сама Домна не навещала Алину.

С немцами она посидела недолго и встала, они, видно, потеряв к ней интерес, бойко говорили о чём-то, затем Домна сняла вязаную кофту и надела летнюю цветную блузку, с глубоким вырезом на груди и с короткими рукавами. Причём она была без юбки, в одной комбинации, доходившей до колен. В таком виде Домна нарочно показалась перед солдатами. Они посмотрели на её блузку, что-то сказали весело, поняв легкомысленный настрой хозяйки покрасоваться перед ними. Их лощёные лица плутовато преобразились.

– Дёмка, ком цу вир, шнель, битте! – подозвал Клаус, и она подошла, солдат провёл рукой по её округлому бедру, потом по ягодице и что-то по-немецки сказал Ирвину, при этом смачно улыбаясь. И показал большой палец, а Домна прикрыла глаза, изнывая от тёплого прикосновения мужчины, стояла покорно, слегка покачиваясь, ощущая набежавшую от волнения слабость.

Затем Клаус налил шнапс, подал ей стакан, велел выпить. Домна не увлекалась особенно спиртным, но любила весёлые компании, когда могла себе позволить лишнюю рюмку, если благоволила подходящая ситуация, и это подготавливало ей приятные минуты плотских наслаждений. А сейчас она добровольно выставилась перед ними, как последняя шлюха, о чём не хотела даже думать. Собственно, кто узнает о ней, она решила просто не упустить благоприятного момента. Была бы молодой, она бы вряд ли так легко повела себя, и тогда бы мужчины сами помогали её, а эти молодые ещё и побрезгуют её уже увядающей плотью, отчего порой загоняла в себя вырывающееся из души иступление, отчаяние. Правда, Ирвин, кажется, выглядел постарше своего товарища. Но всё равно для Домны они, как мальчики. На фронте им подавай любую бабу в теле и при здоровье – не откажутся. Домна мнила себя красавицей не последнего ряда – всё при ней, но как не стало мужа, она словно с тормозов сошла. И вот она выпила,

схватила рукой за губы. Клаус засмеялся, подал ей огурчик, при этом похлопал по ягодице. Домна откатнулась от него, хищно улыбаясь блестящими глазами.

– Ой, ребята, загуляла я с вами, пойду... на кровать... а вы тут вдвоём уместитесь, ведь узкая? А как тесно станет – приму одного, кто порезвей, – дурашливо проговорила она. Немцы болоболили по-своему, показывая друг на друга руками и подсказывали ей, кого она сама из них выбирает. Но Домна не разобрала жестов солдат. Ей казалось, что они оба готовы спать с ней и тогда она покачала головой, показав им один палец. Домна за вечер от волнения мало закусывала и теперь совершенно опьянела.

Когда она легла на кровать, у неё всё завертелось перед глазами и подкатила дурнота. Но потом она потеряла сознание и очнулась только среди ночи. На ней не было ни одной одежды, и никак не могла припомнить, когда она успела раздеться до наготы, чего никогда не делала. На спинке кровати висела её ночная рубашка. В горнице храпели солдаты. Она надела рубашку и пошла напиться воды в ту горницу, где спали оккупанты. «Ах, негодница, как же я им, супостатам, уступила? Эх, мать, твою, захватили, как посёлок, стервятники» – подумала она и зачерпнула железной кружкой воду нарочито звонко по самому дну ведра. Один из них поднял голову, хотя было довольно темно; печь к тому времени уже затухала, краснея лишь слабыми малиновыми угольками. Немец поднялся, сел на кровати, став показывать рукой на горницу. Она махнула рукой, мол, нечего командовать, и пошла, держась рукой за голову.

– Ох, ох, я так не напивалась, ишь лярвы – напоили, а сами дрыхнут! – говорила она вслух то ли себе, то ли воображаемой подруге.

Домна вновь легла и тут перед собой увидела тёмную фигуру немца, но вовсе не испугалась, отодвинулась к стене. Солдат разделся, улёгся рядом с русской бабой, для которой было без разницы кто он – враг или просто солдат чужой армии, ведь её плоть алкала наслаждения. Это был Клаус, но в мужском деле такой же, как и свои мужики. Домна ничего нового не испытывала, она была зла на него, ведь паразит вообще не целовал её, только действовал руками, тогда как она – податливая, полная телесного жара. Потом Клаус просто лежал и гладил её несколько провисающие мягкие груди.

Она прислушалась: его товарищ перестал храпеть. Заскрипела сетка кровати. Он позвал Клауса, потом хозяйку.

– И што, и ему, скажешь, надо? – шикнула она Клаусу, который что-то сказал Ирвину. Затем любовник встал, оделся, наклонился к бабе, слегка похлопал её по плечу, мол, ему пора. Домна в страхе молча смотрела в темноту горницы, наблюдая, как удалялся тёмным мелькающим пятном немец. Но вот оно увеличилось, разделилось сперва на два, а потом разошлось и опять слилось в одно – стало приближаться к ней и она тут же про себя в жуткой догадке смекнула, что они меняются местами, что теперь Ирвин хочет обладать ею. И она хотела было воспротивиться, но чувствовала, что это уже не остановит немца. Впрочем, сама дала повод, но не думала, что они не побрезгуют и вдвоём одну беспутную бабу и согласилась: где один, там и два, а от неё не убудет. И вдруг ей стало неудержимо смешно. Когда Ирвин лёг, охваченный голодной страстью, истосковавшегося по женщине долгим воздержанием; Домне это понравилось, и вся была в его власти, сдерживая свои вырывавшиеся из груди стенания, вкушающей наслаждения плоти, отчего она, казалось, и под угрозой смерти не отрекалась бы. И у неё не возникало даже мысли, что сейчас, быть может, где-то в жарких боях за Родину умирали наши солдаты с последними думами о доме, о жене, о детях. Для простой бабы война в мире как бы не существовала, она довольствовалась одним тем, что к ней под крышу пришли солдаты, которые лично ей не нанесли никакого материального урона, если не считать истраченных продуктов и лишней ведёрки угля, протопленной для них печи.

Утром немцы собрали вещички в свои объёмные ранцы и смотались, нахваливая её при прощании и говорили что-то вроде того, будто они должны куда-то отбыть до вечера, а к ночи,

должно быть, вернуться и тогда вновь погуляют с ней. А потом после них Домна была на сходе. Обратной дорогой домой дотошные бабы интересовались, как она принимала постояльцев, не шкодили ли они с ней на постельке. Домна отвечала обычно в своей грубой манере, что смотрели бы лучше за собой, чем зубы полоскать об неё. С Василисой Тучиной Домна была откровенней, чем даже с Натахой. Ведь Василиса сама была не прочь гульнуть от своего мужа, ушедшего теперь на войну. Аркадий был долговяз, тугодумный, медлительный в движениях, любил выпить и угостить спиртным любого. С женой спал нечасто, считая, что ей это много вредно делать, мол, нечего разжигать в ней страсть. У них родилось две дочери: старшей шёл четырнадцатый годок, младшей – перед войной сравнялся год, и бабы судачили, что родила Василиса от младшего Ефима Борецкого. Сама же она эти сплетни пресекала. Старшая дочь Люда была такая же спокойная и неразговорчивая, как и отец. Василиса слыла непоседой, любила расхаживать по соседям и сплетничать с бабой Лукерьей, матерью Ефима Борецкого-старшего и его незамужней сестрой Нюсей.

Ещё когда дома был Ефим-младший, Василиса шутила над ним, будучи под хмельком. Ефим однажды, более чем за год до начала войны, через забор махнул Василисе, что сейчас пойдёт на огород, за которым на поле росла кукуруза, и он там будет ждать её. Василиса озоровато засмеялась и кивнула головой. Он, правда, пошёл, и она, взяв лукошко для травы, направилась по своему огороду. С Василисой Ефим таким образом погуливал всё лето, пока её Аркадий находился с овцами на кошаре, навещаясь домой по разу в неделю, а то и реже. Затем его сменил Тихон Кузнецкин. Однако Василису всё равно тянуло к Ефиму, как к бочонку с мёдом, хотя утайкой они встречались всё реже. Но слух о их грешной связи неотвратимо разлетелся по посёлку. Лишь только Аркадия каким-то образом он миновал. И вот как-то раз Домна переманила Ефима к себе сначала разговором, что, мол, не дело ему влезать в семью, что есть бабы холостые, а потом и сама предложила себя, угостив его самогоном...

Позавидовала она Василисе, сумевшей залучить молодого мужика, которому самому давно уже пора о семье подумать. А он, казалось, и на девок не смотрел, поскольку стеснялся своего грубого мешковатого вида. Ефим действительно, при своём бедовом нраве, был неуклюж, крупного телосложения, слегка горбился, лицо изрыто оспой, нос большой, широкий, нижняя губа несколько отвисала. Но производил Ефим впечатление сильного человека, каким, впрочем, и являлся.

Василисе кто-то донёс о шашнях Домны с Ефимом, и тогда она разругалась с ней прямо на поле, когда председатель привлекал всех для сбора колосков, сжатой озимой и яровой пшеницы. И многие бабы и девки становились свидетелями перебранки двух прелюбодеек. Однако со временем две соперницы вдруг перешли от вражды к близким отношениям. А Ефим обеими был прочно забыт, у которого, впрочем, вскоре появилась подружка Лизка Винокурова. Но вместе им пришлось быть недолго, так как Ефим ушёл на войну, а Лизка с лёгкостью распутной девки увлеклась молодыми ребятами, то Петром Кузнецкиным, то Жорой Куравиным...

Теперь Домна реже похаживала к Натахе Мошевой, с которой у неё только и делов, что выпить да песню затянуть. Совсем другое дело Василиса: круглолицая, полнотелая, скороговористая. Когда в посёлке остались почти одни подростки да парни, они и с ними не стыдились знаться. Куравин Жора первым вкусил телеса Василисы, когда пришёл к ней за самогоном. А баба игриво пригласила его выпить, и остальное уже сладилось как бы само. А потом и Пётр Кузнецкин побывал у неё по наводке дружка. После они похвастались перед Дроном, что баба безотказная, даже дочери своей не стесняется. Но Дрон взбрыкнул, мол, с такими ему не по пути, а вот к Лизке сходил бы. Хотя поражала та своей невероятной худобиной, но, по выражению дружков, её мослы горячи, как угли. Дрон от злости, что дружки (как пострелы – везде успели) его уже и тут опередили, выругался, видно, гордость ему не позволяла быть не первопроходцем. Нина с ним после поездки на рытьё окопов не хотела встречаться, за что

он было не врезал ей, но в последний момент воздержался. Ведь, несмотря на её строптивость, он любил девушку безответно. Но гордости у него тоже было немало, и тогда он решил завязать с ней...

Однажды в подпитии Дрон чуть ли не озверел, обхватил Нину и сжал её так, что она еле вырвалась, надавав ему пощёчин. И следом, обливаясь слезами, убежала прочь, не желая больше его видеть. А потом до неё дошёл слух, будто Дрон уже встречается с Лизкой и даже похаживал в хату к Василисе со своей новой зазновой. У Тучиной тогда собирались Домна, Натаха, Зина, Клара и молодые ребята. Дрон ходил туда с гармошкой, а Лизка цеплялась за него сама. И там устраивали гульбища. Кто-то из баб пожаловался Макару Костылёву, дескать, распутная баба растлевают парней, так председатель на это лишь рукой махнул, сказав, что он им не судья, пусть отдыхают...

Когда пришли немцы, Домна было начала забывать про вечеринки у Василисы. Но однажды она на бригаде подошла к ней и сказала, что её постояльцы хотят большого веселья, что придут к ним товарищи, а им нужны женщины. Василиса уже поговорила с молодыми девками: Кларой, Лизой, Танькой. Зинаида Рябинина расплевалась, замахала руками, отказалась, зато её дочь вызвалась сама наперекор матери. Естественно, про своих молодых дролей они тут же забыли, поскольку иноземная солдатня манила их к себе, как живительный свет для ночных бабочек. Домна не знала, как ей быть, ведь постояльцы, если сами туда не пойдут, навряд ли её туда отправят...

Вечером следующего дня, после тяжёлой работы в колхозе (вывозили с ферм на поля навоз на быках всем скопом: девки, пацаны и бабы) Домна пришла домой, не чувствуя под собой ног. Однако пока не вымылась, пока не вытравила из горницы навозный запах, все тряпки не перестирала, спать не ложилась. А постояльцы заявили поздно ночью. Она и не слышала, как гудела по улице их техника при потушенном свете фар. Они тоже наскоро поужинали: Домна разогрела им жаренную на сале картошку – остальное они готовили сами. В тот день ещё с Василисой о вечеринке разговора не вели, – лишь на следующий. Немцы легли спать и к ней в эту ночь не приходили – все были окончательно уставшими. К тому же солдаты выглядели почему-то озабоченными, как будто в пути с ними что-то стряслось, о чём Домна, разумеется, боялась спрашивать, на что ума хватало...

Наутро она встала как всегда. Корову Домна уже не держала вторую зиму. Молока для себя разживалась у людей. Её хозяйство – десятка два кур, несколько пар гусей да один кабанчик. Обыкновенно часть мяса она отдавала дочери, часть продавала на рынке, а остальное засаливала, как мясо, так и сало. Молодых петушков продавала. На вырученные деньги набирала отрезков разной материи, затем шила разнофасонистые платья, так что модней, чем она, ни одна баба и девка не могла с ней соперничать в нарядах. Василиса из-за этого подружилась с Домной, простив ей отбитого ухажёра.

В этот день немцы не спешили вставать. Когда надо было идти на работу, Домна не знала – как их разбудить и предупредить, что если вдруг куда-либо снимутся, закрыли бы хату на замок, а ключ – под застреху. Но Ирвин открыл глаза и быстро встал, видя одетую хозяйку.

– Мне уйти пора, – начала она, – в проклятый колхоз, и что вы его не разогнали! – прибавила недовольно Домна.

– Карошо, гуд, ми скоро ту-ту, – сказал он. И Домна пояснила, что от них требуется сделать...

Глава 16

Ещё не наступил декабрь, а зима уже решительной хозяйкой оттеснила осень и легла глубокими снегами. Ночью по загустелому синевой небу рассыпались звёзды, воздух сжался

от усилившегося мороза и стёкла окон разрисовал затейливыми узорами. А утром взошло в дымном облаке блестящее холодное солнце. Снег возвышался толстыми искристыми белоголубыми одеялами, пышными рулонами ваты. Кровли хат росли взбитыми снежными перинами, и по краям выступали закрученными в трубку козырьками; бугры балок, одетые в крахмальные шубы, посолиднели, разжирели, как бока ещё не опроставшейся белой медведицы. Издали хаты чернели, как чёрная микроскопическая гряда на листе белой бумаги. Над ними вытягивались вверх дымные столбы... Из балок с коромыслами и ведёрками поднимались чёрные фигурки баб.

Немцы поставили свою технику в колхозные сараи, а большие машины стояли то возле клуба, то перед дворами, без всякой защитной маскировки. Снег, выпавший позапрошлой ночью, запорошил их, словно обрызгав известью. Утром стояла такая звонкая тишина, словно в мире не было войны, и вообще как могли люди воевать, убивать друг друга, когда кругом так красиво, отчего поневоле возвышается душа до божественного начала, гоня прочь всё мелкое, низменное, суетное. Когда человек менее всего кажется диким зверем, способным на свершение безумств, когда он более всего ласков и нежен, когда с ним, кажется, говорит сам Бог...

Роман Климов дежурил на току, когда у него в хате ночевали немцы. В пьяном виде они оказались буйными. Устинья всё им сделала, что просили: у них было своё мясо – она им приготовила жаркое. Где только взяли – вот вопрос. Отварила картошку, нарезала свойского хлеба. Пошла Пелагея доить корову, а внук Илья сидел в горнице. Один немец пошагал на двор, шатаясь, а через какое-то время Устинья услышала крик невестки – внуку не сказала – вышла сама к сараю. А там, в углу, немец распластал Пелагею и елозил на ней, сверкая подковками своих бахил. Устинья потеряла от страха голос, а невестка уже и не кричала, немец застыл на ней, как неживой, и тут она опомнилась, схватила вилы, стоявшие при входе в сарай, отчего корова замотала головой, словно возмущалась: «Не делай глупости. Не губи себя». Но Устинья всё-таки вступила в сарай, где горела на специальной подставке керосиновая лампа. Она замахнулась вилами, целясь прямо в спину немцу:

– Слазь, окаянный вражина, ишь чаво удумал, паршивец! – закричала она.

Немец быстро вскочил на ноги, выбил у бабы вилы и кулаком заехал в лицо. Устинья полетела почти к яслям коровы, которая замычала протяжно, как сирена. Пелагея одёрнула задранную выше некуда юбку, от исподнего остались клочья, с перекошенным лицом поднялась, как пьяная. Немец уже вышел прочь, что-то по-своему бурча недовольно.

Пелагея нащупала перевёрнутый подойник, в котором осталась капля молока, хотя она до конца не успела выдоить корову, как сзади схватила какая-то дерзкая сила и швырнула её под стену сарая на соломенную подстилку. Немец только кряхтел, сопел, придавив её одной рукой, как беспомощную курицу. И она отчаянно, пронзительно закричала, за что получила зуботычину. Противостоять огромному солдату она никак не могла, тем не менее продолжая яростно отбиваться и руками, и ногами. Вскоре ослабела, поняла, что уступает, заливаясь слезами...

Устинья поднялась с помощью невестки, по лицу из разбитого носа текла кровь. Она что-то причитала, держась за бок, слегка согнувшись от тупой боли.

– И что же вон гад такой сделал со мной, и чего же ты дура такая, пилилась на немцев? – заговорила свекровь.

– Это вам показалось, мам, не глядела я на них, мне было страшно. А вы всё меня в чём-то подозреваете, – жалостно тянула Пелагея. – Я сидела и доила, как он вдруг ударил меня так, что я в угол отлетела; я не видела, ей-богу, как он подошёл. Это он на меня пилился в хате, а мне было страшно от одного его звериного взгляда! – оправдывалась невестка искренне.

– Дак я сама хотела идти доить, а ты чё пробалакала мне? А вони слышали, а энтот зверюка глазищами простриг, пока выходила из хаты с подойником. Я как увидела, так и обомлела. И никак с места от страха не стронусь. И тот уразумев. А его напарник оскалился и на меня

установился, тут я и поняла – увяжется. Пока у печи провозилась, а его, вижу, уже нет, чего не сразу узрела. И когда ты кричала – сердце моё так и подпрыгнуло в груди мячиком и екало, что еле поднялась со скамейки.. и чё теперь отцу баять, ссильничал иначе или как? – нервной дрожью проговорила свекровь, заглядывая в глаза невестки, брови которой прогнулись у переносицы, лицо всё было сумеречно, словно размазано слезами.

– Молчите отцу... – выдавила Пелагея, – кажется, не успел... вы пришли вовремя...

– А тогда чего же ты, как неживая лежала, небось, отдалась? Ой, ой, какой срам! – протянула с сознанием страшного горя свекровь.

Пелагея молчала, нервно вздрагивая плечами, она и сама толком не могла понять, что тогда на неё нашло, но ничего не почувствовала. Теперь ей самой казалось, что у немца это не получилось. Потому она уже не боялась последствий. Хотя в те ужасные минуты позора её сковал смертельный страх, что немец в ярости сможет задушить, да и образ фашиста, что сложился по слухам и газетам, прочно жил в ней. Когда немцы пришли к ним, она начала искать сходство воображаемого фашиста с действительным, реальным. Но немцы сначала улыбались, весело балагурили. Попытались объяснить своё вторжение причинами локальных боёв их армий на всём Северном Кавказе. Да и потом они ничего звериного не проявляли, поражая лишь своими внушительными физиономиями, своей грозной, но красивой формой, автоматами, всем снаряжением и боевыми машинами. Когда они въехали, почти все люди выходили из своих дворов, а ребята так даже готовы были бежать к ним. Но страх удержал их, всё-таки это не гости небесные, а вражеское воинство, топчущее их родную землю. Потом все попрятались по хатам, мальчишки принесли весть – солдаты группами заходят во дворы и что-то ищут. Выстрелы не гремели, немцы искали приют в чужих хатах.

– Выдоила корову, аль нет? – спросила Устинья. – И за что такое наказание?

– Не успела...

– Не успела, а вон гад, успев! – чуть не плача сказала свекровь. – Ступай, чаво таперя. Ой, стой лучше тут-ка, а то вони уже перепились – опять полезут...

– А Илья там?

– Там... он же не девка! Ой, а как же там Зойка, пришли к ним немцы, али нет? – встревожено заговорила она, усаживаясь под корову, продолжавшую пережёвывать сено.

Пелагея, ещё пребывая в страхе, при каждом малейшем звуке, шорохе, доносившемся из хаты, вздрагивала. Свекровь доила корову, струйки молока звонко устремились в поддойник. Она уже не могла стоять от нервной усталости. Ноги стали уже мёрзнуть, из-под юбки свисал лоскут от порванного исподнего и навёл жуткие воспоминания, порождая в душе к себе стыд и омерзение...

Когда они пришли в хату, где было накурено и пахло жареным мясом и водкой, немцы продолжали бражничать, выкрикивая что-то вроде бравурных маршей. Илья не спал, он вышел в переднюю горницу.

– Что вы там, десять коров доили? – обидчиво, не без укора, но с иронией спросил внук.

Этот немец посмотрел на Пелагею и весело взял её за руку, но она выдернула, как из не успевшего захлопнуться капкана, глядя испуганно, в оторопи. Другие солдаты засмеялись, разглядывая бабу, как диловинку, хлопая себя по коленям, словно выражали сожаление, что никто из них не может ею обладать. И глаза сверкали азартно.

– И чаво ты пристал к ней, как банный лист?! – воззрилась Устинья, отнимая от немца невестку. – Вот тваму начальнику пожалуюсь, он задаст тебе жару, охальник! – попыталась она приструнить того, но солдат только скалил зубы. И тянул к Пелагее руки.

Илья, видя необузданное вражеское хамство, нахмурился, сжав челюсти. Устинья поставила ведро под печку, немцы увидели, воскликнув:

– О, млеко!

Из-под кровати выглядывал чёрно-белый кот, нацелено взиравший в любопытстве на непрощенных гостей. Пелагея взяла сына за плечо и пошла с ним в горницу.

– Как же, разогнались, молока захотели, – проворчала Устинья, – спать бы уже шли. И она взяла с пола подойник, чтобы процедить молоко в кастрюлю. Потом она налила кружку молока и понесла внуку, не забыв угостить и кота, тершегося об её ноги. Немцы же встали и пошли на двор.

– Чтоб вы там и остались! – вслед тихо произнесла хозяйка, думая о невестке, которой нелегко быть на виду у таких откормленных мужиков. И она пожалела сына, задумалась: как он там на войне, жив, ранен, что сейчас делает? «Ох, хотя бы жавой остався, счастье для нас было ба» – вслух сказала она негромко.

В эту ночь Устинья спала с невесткой, а внук – один. В первой горнице немцы заняли большую и маленькую кровати. Они ещё долго возились, громко разговаривали, захакивали к хозяевам хаты. Лезли к Пелагее через Устинью, подняв шум и нагнав страху на баб. Илья в темноте плохо их видел, но боялся заступаться за мать и бабу, и раз кто-то так сильно двинул его в грудь, что у него враз перехватило дыхание. А баба Устя взволнованно просила не волноваться, всё равно он ничем им не поможет, тогда как сам пострадает, а немцам без разницы, что перед ними пацан...

Но потом солдаты, видно, сморенные усталостью и алкоголем, успокоились. А уже утром они встали ни свет ни заря, и выкрикивали, что всех их ждёт дорога в Германию. Когда стало ясно, что их начальство собирает у клуба население посёлка, Устинья побледнела от одной мысли, что угрозам немцев недолго сбыться. И она подняла вой, обнимая невестку, словно плакала по покойнице. Солдаты уже ушли, и они вздохнули, и сами потянулись к клубу, идя вместе с Верстовыми, их соседями, да Тёмиными, и, всё ещё пребывая в страхе, тихо обсуждали своих постояльцев...

Роман Захарович подошёл к клубу, когда ещё не было немцев; нашёл своих, и по измученному виду Устиньи и напряжённому – Пелагеи, догадался, что ночь для них прошла нелегко. Внук Илья тоже как-то прятал глаза, точно стыдно было перед дедом говорить правду, точно они вступили в заговор с немцами против деда.

– Чего вы все перепуганные? Или вражьи души изгалялись? – спросил Роман Захарович, глядя на баб попеременно.

– Чаво, чаво, да ничаво! Германией стращали, антихристы! – нервно бросила Устинья. – Тебе-то што – дрыг в сторожке, а вони тут, под боком. Всю ночь, как на ножах, глаз почти не сомкнула, враг и есть враг – супостаты! – Устинья уставилась на мужа, дыша на него паром и спросила: – И нешто, правда, могут увезти в Германию? – спросила в страхе.

– Зачем ты им, старя, нужна, утихни и душу зря не рви! – сказал как решённое Роман Захарович, посмотрев на невестку, щёки которой нежно порозовели и он сам смутился. Да ещё люди глазели на них: на нём был овчинный полушубок, и выглядел Климов довольно предстательно.

После того, как выступил немецкий офицер, и когда они ушли вместе с председателем и старостой, Устинья перевела дух, а Пелагея тотчас заметно повеселела. Уже почти пять месяцев она была без мужней ласки, и за это время к ней постепенно вернулось ощущение девки на выданье. Потому всякий взгляд то ли мужчин, то ли свёкра, она встречала не без тайного волнения. И эти ощущения волнующейся плоти у неё вызывали глухое чувство досады. А иногда она раздражалась, замыкаясь в себе. Пелагея при этом вспомнила довоенное время, как хорошо было ей с мужем. Какое это было счастье, от которого осталось лишь смутное довольство собой и мужем, как она тогда шутила с бабами по разным поводам. Много шума вышло из-за Домны, спутавшейся с Фадеем. Все бабы дружно её осудили за то, что она влезла в чужую семью. Собственно, жена Фёкла и наделала много шума, не пощадив даже себя. Тогда Пелагея в шутку допытывалась у мужа Устина, не пробовала ли Домна соблазнить его, на что муж отре-

агировал усмешливо, обхватил её за талию, сказав, что его по-настоящему соблазняет лишь только она, Пелагея. От одних этих слов она была безмерно счастлива, его так же удовлетворяло то, что жена не утратила за годы супружества молодую статью, что у мужа от этого не пропала к ней любовь, на которую она со всей страстью отвечала своей, безумно зацеловывая Устину.

Теперь, думая о прошлом, Пелагея приучала себя к тому, что она, должно быть, не скоро увидится с мужем, а может, вообще больше не доведётся быть им вместе? Но эти мысли она отгоняла от себя прочь, правда, у неё было ощущение, что с Устином на фронте пока ничего не случилось, и втайне молила Бога, чтобы уберёг мужа ради их любви и детей. Словом, Пелагея настроила себя на долгое ожидание Устина, без которого другие мужчины для неё как бы не существовали. Правда, их в посёлке почти не осталось, не считая стариков, о Макаре же бабы шутили, мол, остался, как племенной бык. А всё-таки в первые недели без мужа испытывала одно мучение, потом стала привыкать. В конце концов она уже не такая молодая. Пора бы укротиться плоти. Но она, вопреки всему, иногда властно заявляла о себе, что её чрезвычайно огорчало, дурно сказываясь на всём самочувствии. Но само по себе это желание подавлялось довольно редко, и поневоле приходилось вкалывать так, что от страшной усталости валилась с ног. Собственно, работой и спасалась, да сознанием, что муж сражается с фашистами на фронте.

От клуба шагали сначала молча. Роман Захарович всю ночь глаз не сомкнул, ведь немцы с автоматами наперевес, с электрическими фонариками ходили по току, заглядывали в зернохранилище и жестами объясняли ему, мол, если зерно куда денешь, тут же на столбе повесят. Они осматривали все сараи не как захватчики, а как истые хозяева. Ещё днём пересчитали коров, быков, кур, свиней. И почему не увезли всё поголовье, думал в недоумении Роман Захарович...

– Што жа ты, Ромка, не опередил Осташкина? – спросила Устинья. – Был бы старостой и нам бы жилось полегче?

– Самому в петлю лезть? Ты совсем с ума спятила! – ответил Роман Захарович, удивляясь в душе своекорыстию жены. – Они же тут не насовсем – придут наши и спросят: «Зачем врагу служил?» Нет, не по мне этот хомут, а его, Марфина тятку, я не осуждаю, после с ним, конечно, разберутся, и не завидую ему, сговорчивому дураку.

– А ты будто знаешь, когда придут наши? А можа и вовсе не придут, вишь чаво бают вони – власть их тута надолго! – твёрдо сказала Устинья. Ты жа гляди – перед имя не больно умничай, а то начнёшь их учить уму-разуму. Вон Верстова Агапка мне сказывала – немцы хорошие – сами вызвались ей дров нарубить. А потом веселье завели... девке её и самой шоколадом потрафляли. И у Тёминой Варьки спокойные. А у нас – чисто дьявольское выроде!

– Обижали, значит? – спросил Роман Захарович, изменившись в лице, посуровев.

Устинья махнула рукой – замолчала. Климов посмотрел на невестку, ёжившуюся от холода в своей дошке из искусственной цигейки, и как-то хмурила брови, уйдя в себя. – Так что они делали – паскудники? – продолжал допрос он, нажимая на последнее слово.

– Ну, вот сейчас же я позволю им, как бы ни так, – грубо бросила Устинья. – Нашли молодуху. Я о старосте чево завела речь. Они бы вели себя не шибко нагло...

Роман Захарович покраснел, его лицо отливало бурым окрасом, глаза налились не то стыдом, не то ревностью, не то злостью; ведь то, о чём он думал на дежурстве, выходит, подтверждалось в действительности...

Глава 17

Устоялись морозы; снегу ещё навалило небывалого; идёшь по улице, а ноги прямо тонут, скрипит как крахмал, с ворчливым присвистом, словно собака грызёт кость и урчит на воображаемого противника. Осташкин обходил дворы ближе к вечеру, когда уже сумерки смещи-

вались со снегом, а небо отливало густой синюшностью с крапинками звёзд, похожих на капли воды, освещённых изнутри острым лучом, застывавшим в стекле.

Немецкий офицер дал старосте наказ: со списком являться с напоминанием к тем, кого будут посылать на работу в город. В списке помечена в основном одна молодёжь – девки и парни. В это число попали Нина Зябликова, Анфиса Путилина, Стеша Полосухина, Валя Чесанова, Глаша Пирогова, Лиза Винокурова, Наташа и Настя Жерновы и другие девушки. А вот Ксении Глаукиной, Наде Крынкиной, Кларе Верстовой, Доре Ермиловой выпала доля работать в госпитале – присматривать за тяжелоранеными немецкими солдатами и офицерами...

Ребятам надлежало выехать завтра на строительство инженерно-оборонительных сооружений. Для Осташкина это была неприятная миссия. Некоторые бабы жаловались ему на грубое обращение немецких солдат, мол, нельзя ли ихнему начальству передать, чтобы укоротили им руки? Старик отвечал, что постарается; эти немцы, оказывается, вовсе не такие живодёры, о каких писали в газетах, с ними вполне можно о чём-то договориться. И шёл в следующий двор, не задерживаясь в каждом более пяти минут: он оповещал о предстоящем задании и топал дальше.

Потом немцы откуда-то приезжали и расходились по своим квартирам. Этот вечер начал отсчёт их хозяев в новых условиях подневольного существования.

Утром чуть свет ребят погрузили на один фургон, девчат на другой; бабы со слезами провожали своих дочерей, словно на чужбину. Кто-то шёпотом заметил, что немцы решили обманом увезти молодёжь в Германию.

Екатерина Зябликова выглядела спокойной, бабские пересуды она воспринимала вполне осмысленно, то есть без паники. Староста Осташкин вместе с немецким майором, исполнявшим обязанности коменданта, пересчитал девчат, так как дед хорошо их ещё не знал. Своих внучек Никита Андреевич как ни старался заменить на любых других девушек, комендант упёрся – и ни в какую:

– У нас русский блят не пройдёт! – важно отчеканил майор фон Дитринц Роненберг. – Ничьего, твой внучка там не пропадёт.

– Далеко их увезут? – робко спросил старик, тушуясь под взглядом офицера.

– Найн, туть близко вашь горад. Под хутор Татарка, слыхаль? – Осташкин отрицательно покачал головой.

Комендант махнул рукой водителю, чтобы тот трогал. Машина бодро загазовала, выбивая из выхлопной трубы чёрный дым, и тронулась в сторону выезда на дорогу, ведущую в город Новочеркасск. Бабы следом, гуськом, с проникнутыми тревогой лицами, пошли за фургоном, махая руками. Ещё хорошо не рассвело, но было довольно холодно; мороз выжимал, кажется, всё, на что был способен. Немецкие солдаты пританцовывали, разогреваясь: хлопали руками в рукавицах по бокам друг друга.

От своих постояльцев Екатерина ещё вчера вечером ненароком узнала, что молодёжь повезут на работы и в дальнейшем им пока можно было не волноваться. Денис тоже уехал ещё раньше Нины. И немцы сейчас запрыгивали в фургон, но куда они уезжали, толком в посёлке никто не знал, впрочем, и даже не пытались любопытничать не в меру.

В колхозе бабы работали по указке Макара – он и сам не стоял без дела, не сидел в конторе; довольно и того, что бухгалтерия была полностью в руках Шуры. Назара поставил присматривать за дизельной подстанцией. Макар сумел своих детей оставить при себе. Возле Шуры иногда появлялся майор Дитринц и любезничал с девушкой с подчёркнутой учтивостью, на какую только способен воспитанный немец. Бабы изредка становились свидетелями того, как офицер провожал Шуру в контору. А потом, поговорив с ней, козырял и уходил к дороге, куда подъезжал автофургон, и на нём отбывал восвояси, оставляя вместо себя одного из младших офицеров с несколькими солдатами, наблюдавшими за работой людей в колхозе и жизнью

посёлка. По улицам бегали пацаны, предоставленные сами себе, да в хатах или на дворе возились по хозяйству старухи...

Вечером немцы вернулись, а молодёжь была расквартирована в хуторе Татарка по хатам. Ксения и Клара помогали солдатам снимать с фургона тяжёлораненых, которых доставляли в тыл с фронта. Надя и Дора выносили грязные бинты, стирали и кипятили их и всё нижнее и верхнее бельё солдат в бывшей детсадовской кухне.

Из девушек больше всех переживала Ксения, разлученная с Гордеем, увезённым с другими парнями в прифронтовую зону. Накануне вечером они проводили время в скирде, несмотря на собачий холод. Но вместе им было почти тепло. Гордей выражал надежду, что им недолго быть в разлуке, всё равно наша армия вот-вот разобьёт немцев. Гордей просил Ксению не оставаться одной на виду у солдатни. У него стояли в глазах слёзы, она как могла, успокаивала его, что немцы не посмеют насильничать, теперь есть староста, объяснивший, что солдатам строго-настрого запрещено обижать население.

Ночью Ксения увидела во сне, как Гордей бил палкой по лицу немца, а он стрелял в него из автомата, но Гордей остался жив. Теперь она опасалась, что наяву это тоже может произвестись, так как Гордей, в случае чего, собирался убежать из фашистского рабства.

Вечером, с тетрадью в кармане пальто, Осташкин ходил опять по хатам, куда записывал поголовье скота, птицы. Начальство будет сурово наказывать тех, кто самовольно порешит что-либо из живности. Никита Андреевич прямо говорил, если кто-либо самовольно посмеет заколоть кабана, то без его разрешения этого делать никак нельзя, но если и немцы самовольно делают то же самое, то его, как старосту, о факте мародёрства хозяева должны поставить в известность.

– Для чего это им надо вводить такой строгий порядок? – спросил Роман Захарович у старосты.

– Дак, я так полагаю: интендантская рота заготавливает продовольствие для своей армии, да и раненых надо чем-то кормить, – пояснил Никита Андреевич. – Я всем так объясняю, ежели заколите кабана, тогда нам всем не сдобровать, а вот петушка или курицу, если порешите – я оставляю за вами – не впишу в тетрадку, но чтобы я точно знал, когда в свой котел их оприходуете.

– Ну и ну, нашёл себе службу! – слегка досадуя, ответил Роман Захарович.

– Дак, ежели бы ты согласился – делал бы то же, что они велят. Не от себя же я?

– Нет, сам бы я не пошёл, – раздумчиво сказал Климов. – А на свой риск они бы со мной не стали связываться. Я не их поля ягода. Насильно мил не будешь, так-то.

– А ежели они пришли насовсем? – в оторопи процедил Осташкин. – Я, конечно, понимаю, мы всегда врагов осиливали, но эти же на броне и самолётах?

– Как ты далеко глядишь! У нас тоже своя броня и авиация, что ж мы, только на лошадях пашкой махали? – Роман Захарович махнул рукой. Из дальней горницы выглянула Устинья и решительно покрутила у своего виска, мол, дед совсем спятил, с кем вздумал спорить, завтра же выдаст тебя им.

– Не думайте, что я какой-то враг, своих всегда уберегу, – сказал Осташкин, увидев жест старухи. – Ну, ладно, потопая, а то немчи скоро, – он нахлобучил шапку, неловко потоптался на месте.

Роман Захарович в валенках проводил старосту до калитки. Уже который вечер дома не было внука. Постояльцы приглашали хозяина к столу пропустить чарку-другую водки. Солдаты искали глазами его невестку, которой свёкор велел не показываться им на глаза. Доила корову до их прихода Устинья. Роман Захарович сам ходил к коменданту и объяснил тому щекотливую ситуацию, что, дескать, вольничать в отношении их баб солдатам позорно. Майор Дитринц от всей души засмеялся, откинув голову назад, глядя снисходительно на деда.

– Немецкий зольдат твоя жена трогать? – потом спросил комендант. – Старый баба им не нужна, а-а, невестка-а, о-о, гуд! Я сказал зольдат, ты не бойся – волос с невестка не упадёт без моего приказ. А короша твоя невестка! – он опять засмеялся.

– Господин майор, вам почему-то весело, а нешто наши бабы любят грубые руки? Как бы ваша жена заговорила, если бы её чужой солдат начал лапать? Паскудство – последнее дело для военного, это разлагает вашу армию.

– О, ты философ, ваш зольдат никогда к нам не пойдёт, вы уже скоро капут. Сталин ваш с нашим фюрер братовались. Молотов и Робинтроп – их послы мира, ты это не знаешь?

– Наши люди стали забывать, что все мы ходим под Богом, – начал Климов. – А ведь в писании сказано: кто пришёл с мечом...

– Тот и от меча умрёт! – воскликнул майор Дитринц. – Карошо сказал, я-я. Наш фюрер знает сказание вашего министра Бисмарк: на Русь нельзя идти война – падёте! Мы верим Бисмарк, нашему соотечественнику. Но наша армия не победима, фюрер достиг главной цели и высокий идеей освобождения мира от коммунизма. И мы уже у порога Москвы.

– Я про Бисмарка не слыхал, у меня три класса церковно-приходской школы. А зачем вам освобождать нас от коммунизма, которого ещё нет в помине? Вы, как татары, хотите отхватить весь мир. Вот это мне давно ясно. Мы не просили нас освобождать, а ежели надо – сами, как царя...

– Ваша Русь нищая, босая, а коммунизм – утопия. Вы сказать хотите, сто я фасист? О, найн, я по призванию простой инженер, война мне неприятна, но у нас мобилизация – закон. Я людей не убивай, моё дело исполнять приказ...

– Вот прикажут, и застрелят любого, ведь так? Ежели вы не фашист, то и не антифашист, ежели выполняете их приказ! – сказал Климов.

– Найн, моя рота – не каратель, мне приказывают не убивать. А всего лишь обслуга фронта...

Роман Захарович понимал, что майор иногда противоречил сам себе. Раз не фашист, тогда зачем превозносить своего фюрера? Но это он остерегался спрашивать: как бы немец не отделял себя от фашистов, а находился он с ним в одной упряжке, и будет молчать при виде расстрелов истинных антифашистов. Но и то хорошо, что офицер нашёл работу для наших людей недалеко от дома, думал Роман Захарович, покивав вежливо на последние слова майора Дитринца.

– Иди, старик, домой – нахаузен, я твоя беспокойства понимаю, у меня в Германии есть своя семья, я уже сказал: зольдаты – не обижайте населения. В Татарка есть полиция хуже наш зольдат, я-я! Ну, ступай... – указал жестом, не терпящим промедлений.

И Роман Захарович пошагал, пребывая в лёгком недоумении от почти равного разговора с вражеским офицером. А по дороге ему шла навстречу Домна Ермилова, поравнявшись с ним, грубо спросила:

– Нечто к немчуре нанимался в сторожа?

– У них своих полно, я такой службой брезгую, а вот ты с ними распутничаешь! Это же какой балаган вы устроили у Василисы, а? И стыда нет! Муж Аркаша сражается, а она с немцами забавляется. Дуры вы, бабы, свою кровь русскую портите, нацию позорите! Тьфу на тебя! – бросил Климов, полный возмущения оттого, какие дурные слухи ходили о Домне.

– Ты лучше на себя обернись, хрыч старый! – оборвала она. – Я по комендатурам не шляюсь, как ты. Ходишь, как куркуль, ишь, вырядился в полушубок – пентюх старый, завидки душу изъели? На Устю уже не залезаешь, а бабка увся издёргалась от этого. А можа с невесткой балуешься, а Усте уже на тебя тошно зреть? – и Домна, сверкнув озорно глазами, заржала.

– Язык у тебя, что помело, нечего несурязицу плести. Дай бог, чтобы твой Демид вернулся, он бы тебя наставил на путь истинный. Шельма язычная как есть! – незлобно произнёс Климов и пошагал неторопливо дальше, оглядывая заснеженный посёлок. Он вспомнил, как

майор что-то говорил неодобрительно о наших руководителях, но что он этим хотел сказать, Роман Захарович не мог сообразить ни тогда, ни теперь, вдумываясь в его слова о Молотове и Робинтропе. И когда же успел Сталин брататься с их Гитлером? Наверное, это чистой воды поклёп на вождя всех народов. Он одно никак не мог уяснить: почему немцев пустили в страну, где самая большая армия и передовая идеология? Ежли это произошло, в чём, он, собственно, почти не сомневался, значит, не всё обстоит так хорошо и в армии, и в руководстве страны? Немцы уверено заявляют, что уже, считай, победили коммунистов. От сознания этого у него на душе делалось не по себе, но всё равно Климов не хотел верить немцам, которым сейчас очень выгодно таким образом подавлять дух русских людей, чтобы у них не возникало побуждений к оказыванию им всяческого сопротивления.

От этих мыслей его незаметно отвлекли суждения Домны, совершенно лживые, будто бы он забавляется с невесткой. Для него это было целое открытие – вон в каких догадках пребывают бабы навроде Домны, неужто видно, что он дюже падок до молодых баб? Нет, вряд ли – это она решила со зла навести тень на плетень. Пустые домыслы, но такие, что скажи любому, так и поверят не за понюшку табака. Конечно, летом он боролся с вожделением, какое испытывал и к Ульяне Половинкиной, умевшей соблазнительно водить глазами и вертеть юбкой, и к Анне Чесановой, и к Авдотье Треуховой. Впрочем, почему бы ни полюбоваться хорошей бабой, на то она и красота, что невольно влечёт пялиться на неё, но вовсе без какого-либо плотского вожделения. Хотя заповедь Христа как раз это и осуждала, точнее, объясняла ситуацию... Да и бабы вроде той же Домны сами впутывают в свои чары так, что просто мочи нет освободиться от них. Вот и невестка его обладает всеми женскими качествами – обращать на неё внимание. Но он-то, чтобы поиметь с ней грех, и в мыслях избегал вожделения, ведь как-никак жена сына родного. Ему казалось, что невестке тоже тяжело без мужа, а сейчас война, другим голова забита, как бы достойно перетерпеть оккупацию. А тут эти солдаты смотрят на баб голодными псами, а их начальник ещё и шутил. Для него ничего не стоит смотреть за выходками своих подчинённых сквозь пальцы, не считая насилие за большое преступление, ведь они захватчики, чем всё как бы и сказано, что и развязывает им руки. Но своих баб он, Роман Захарович, ни за что им не даст в обиду...

Глава 18

В тот вечер у Василисы по наущению немцев собрались бабы и девки. Домна ушла домой, пообещав разбитной товарке привести Натаху Мощеву, которой сказала, что там ничего такого паскудного не будет, ведь немцы культурные люди. Клара Верстова пришла посмотреть исключительно ради любопытства, как танцуют немцы; с собой она привела Лиду Емельянову и Тосю Салфетову, а Танька Рябинина прибежала сама. Домна велела каждой девке, если хотят быть на вечере, принести закуску и что-либо выпить.

Одну горницу освободили под танцы и застолье. С утра Василиса крутилась у плиты. В колхоз не пошла, так как её постояльцы разрешили заняться кухней. Василисе помогла чистить картошку и овощи её дочь Люда, а потом она занялась маленькой сестрёнкой, после чего мать заставила её уйти с ней к Верстовым. Вскоре с Домной пришла Натаха. Вечером перед двором Тучиных вертелись нарядные краснощёкие девки. Собственно, вход для всех баб и девок был свободен. Немцы приехали как раз те, которые стояли у Василисы; они побросали за печь своё снаряжение и от переполнявшего их восторга шупали девок. Потом стали сходиться другие: унтер-офицеры, фенфебеля, солдаты. Комендант майор Дитринц пришёл с двумя подчинёнными; они посмотрели, поговорили со своими и удалились. Уже почти все жители посёлка прослышали о том, что Тучина задаёт немцам пир. Но мало кто решился посмотреть на невиданное доселе зрелище. В душе многие осудили Василису за потакание и угоду фашистам. Постояльцы Домны, конечно, были активными зачинщиками вечеринки;

стоило ей намекнуть им о намечавшемся гульбище, как немцы мгновенно одобрили затею своих соплеменников. Они привели Ганса, Курта, Фрица. Всего их было более десяти человек. Принесли граммофон и кипу пластинок, чего наши девки и бабы воочию ещё не видели. Немцы все выбрились, вымылись и благоухали своими заграничными одеколонами. Курили дорогие папиросы. Затаскивали в хату с улицы девок – сестёр Овечкиных, Алёну Чередникову, но они вырвались с визгом и вскоре в панике убежали в страхе, а другие остались, хотя застолье ещё не начиналось. Однако некоторые бабы тоже не усидели и направились к подворью Тучиных – смотрели в окна, где в такой знатный вечер горели сразу четыре керосиновые лампы только в одной горнице, да в другой не меньше. И потому яркий свет наводил на людей ужас, словно хозяйка учинила ведьмин шабаш...

Когда вечер начался, комендант пожалел, что не устроил веселье прямо в комендатуре. Он бы непременно пригласил дочку председателя, которая всегда краснела, если брал её под руку, и очень боялась оттолкнуть от себя офицера. А сейчас он, заперев комендатуру, пошагал по накатанной снежной дороге к хате Костылёвых. В посёлке слышался лай собак. Солдаты хотели их перестрелять, но майор им строго запретил это делать, чтобы не настраивать против себя местное население, так как должны поддерживать с жителями мирные отношения. Зачем, собственно, зря настраивать против себя народ? Это майор Дитринц знал наверняка, поскольку полагал – потому русские так отчаянно и сопротивляются немецким войскам, что части эсэс и гестапо учиняли над мирным населением подчас бессмысленные зверства, являющиеся для тех обычным делом. Ведь фюрер таким способом велел им устанавливать германское господство над покорёнными народами, подлежащими уничтожению ради торжества немецкой нации. Но насилие, жестокость порождает сопротивление. Уже с первых дней войны с советами было совершенно ясно, что русские будут драться за каждую пядь земли. И блицкриг не состоялся, что и подтвердилось в первый же месяц войны...

Майор Дитринц постучал в окно хаты, и тут же показалось девичье, впрочем, ещё детское лицо, но это была вовсе не Шура, и по своей красоте она ни в чём не уступала своей старшей сестре. Он прошёл уже немало русских селений, городов, и везде ему удавалось закрутить роман с хорошенькими девушками или женщинами. Они отдавались майору, казалось, с поразительной лёгкостью, впрочем, он знал, что женщины уступали ему исключительно из-за страха, а сила немецкого оружия, само понятие – нацизм, наводили на русских ужас. Нет, силой он невольниц не брал – только вежливым обхождением, и вскоре они проникались к нему доверием. Некоторые отдавались с той лишь надеждой, что это непременно спасёт их от плена и увоза в Германию, отчего он действительно обещал их освободить за примерное послушание. Сначала он нарочно играл на чувствах женщин, боявшихся пленения, а потом говорил, что для них лучшее спасение – это он сам. И они отлично понимали, что от них требовалась покорность сильному. Вот и Шуру он нарочно оставил в колхозе в своей должности бухгалтера, а заодно и её брата. Отец к этому не приложил ни одного душевного усилия, хотя майор видел, с каким ожидающим взглядом Костылёв смотрел на него, при этом не зная, что нужно сказать, чтобы его дети не попали в отдельный список посылаемых на спецработы. О Германии речи пока не шло, так как ему была поставлена задача – организовать в тылу госпиталь с местным персоналом, что блестяще он и сделал со своими, разумеется, врачами.

Ему открыл сам Костылёв. Майор вошёл степенно, видя, как хозяин побледнел, и Дитринц почувствовал с удовлетворением своё превосходство над этим трусливым русским мужиком, который совершенно не способен организовать в посёлке сопротивление немецким солдатам. Макар Пантелеевич будет служить ему так, как он, майор, сам пожелает. И на его самодовольном лице отразилась снисходительная улыбка.

– Ти, Костилёв, понимай, твоя дочь Зуля благодаря меня дома? – спросил он многозначительно. – Очень карошо. Ти не возражай, чтё я с ней погуляю?

– Да, как вам ответить, господин офицер, – начал сбивчиво Костылёв. – У неё-то есть жених. А вы... нет, я отказать не вправе, лучше я позову саму Шуру...

Феня выслушала этот разговор, стоя спиной к печи, и пошла в другую горницу сказать падчерице, что её вызывает комендант.

– У неё есть свой жених на фронте? – майор с видом удивления плотоядно улыбнулся, и в это время из горницы в переднюю вышла Шура, на её щеках играл румянец, она была в новой юбке и вязаной кофточке.

Офицер оглядел её волнующий стан с хорошей фигурой с полными грудями. Ему казалось, что целомудренной этой девушки он ещё не встречал. С каким достоинством она держалась, как настоящая светская дама. Утром они уже виделись, и он сказал, что вечером к ней придёт, и они сходят на вечеринку. Шура тогда ещё не знала, что Василиса Тучина и есть зачинщица танцев в своей хате.

Костылёв, сутуля спину, пошёл мимо дочери к жене, из-за плеча которой выглядывала Ольга. А Шура подошла к майору, услышав от офицера приглашение на прогулку.

– Надо же одеться... Я сейчас выйду, – и она быстро ушла, вновь появившись в цигейковой шубке с большим воротником из такого же меха, покутав на голову белый пуховый платок и надев невысокие белые валенки с подвёрнутыми краями. Офицер пропустил её вперёд галантным заученным жестом, идя следом за девушкой.

Шуре было уже семнадцать лет, и она выглядела несколько старше своего возраста, о чём она, правда, совершенно не задумывалась... Бурный роман с Сергеем Чернушкиным, с которым должны были пожениться, оставил у неё в душе незабываемый след. Но уже более чем через полгода разлуки с ним, потеряв переписку, его образ будто растворился в глубине её сознания. А любовь к нему всё ещё светила в душе, но уже несильным, неотвратимо слабющим огоньком. И фитилёк её под действием всесильного времени всё прикручивался и уже горел совсем слабым, чуть тлевшим язычком. О Сергее она всё равно уже так не думала, как раньше, словно боясь, что память о нём неизбежно навредит ей. Но, тем не менее, Шура хотела быть ему по-прежнему верна, хотя тогда она даже не предполагала, что немецкий офицер станет за ней настойчиво ухаживать. Девушка очень смущалась, так как все бабы стали свидетелями этой, словно театральной, сцены. И она просила коменданта больше так не делать при всём народе, уж лучше всего ему приходиться к ней вечером, когда никто её не видит, чтобы потом бабы не осуждали её за связь с офицером. Ведь тут ей ещё долго жить. Хотя как раз об этом Шура остереглась заявить ему открыто, так как он бы посчитал, будто она ждёт-не дожётся, когда наши войска изгонят немцев с родной земли. Но то, что это когда-нибудь произойдёт, она почти не сомневалась. Конечно, девушка уяснила, что майор нарочно оставил её дома для себя. Сознать это было, разумеется, неприятно и досадно, она ни за что не хотела превращаться в любовницу врага Отечества. Но он ни за что не будет слушать её детский лепет о целомудрии, ему нужна женщина, коей к тому времени она стала давно, прямо в степи, когда однажды Сергей провожал её домой из города. Но об этом, кроме него одного, не знала ни одна душа. Потом, живя на квартире в городе, они сожительствовали, ни от кого не таясь. Сергей собирался здесь остаться, ещё служа в армии. Он съездил к себе домой, вернулся с намерением пожениться, но неожиданно грянула война, и вскоре они расстались. Шура вернулась в посёлок. И вдруг обнаружила, что беременна; она слыхала о Чередничихе, делавшей аборт, и ночью в строгой тайне пришла к ней. Перед тем, как удалить плод греха, Шура потребовала от старухи принести ей клятву, что об этом случае не узнает ни одна душа. Чередничиха, зная цену молчания, выразила обиду, что с такими помыслами к ней лучше не приходиться. Тем не менее она освободила её от бремени. Шура заплатила Чередничихе за услугу и ушла с червоточиной в душе...

И вот уже она снова гуляла с мужчиной, да каким, от этого у неё иногда прерывалось в страхе дыхание. От немца хорошо пахло. Он был выше среднего роста, ходил в шинели

и фуражке, из-под которой выглядывала шапочка, прикрывавшая уши и затылок. Он повёл её в комендатуру, где вечером протопила баба, приходившая по его приказу из крайней хаты. В бывшем школьном классе стояла железная кровать, на которой он спал, охраняемый двумя часовыми, обыкновенно они стояли на крыльце школы и сменялись каждые два часа. Сейчас при виде офицера часовые, вытянувшись во фронт, тут же расслабились. Майор открыл ключом дверь, раскрывшуюся с морозным потрескиванием. Вечер был ясен, на тёмном небе сияли звёзды: стояла тишина, лишь над городом изредка небо озаряли сигнальные ракеты. Где-то далеко ухали тяжёлые орудия. Он галантно пропустил Шуру в комендатуру, куда немцы подвели от своей дизельной подстанции электроосвещение. Дитринц включил свет в передней комнате, где некогда были ученические классы, а парты, убранные к одной стене, возвышались до потолка. Здесь же стояли столы и походные кровати для четырёх офицеров, двое из которых днём уехали по его поручению на неделю в город. В другой, самой большой комнате, перегороженной на две, была спальня коменданта и одновременно его кабинет. Все окна были плотно задрапированы чёрным сукном.

Дитринц открыл небольшой сейф, достал из него бутылку русского коньяка, коробку шоколадных конфет и лимон, который аккуратно нарезал дольками, уложив их на тарелочку из саксонского фарфора, привезённую им из своей родной Саксонии. Скольких он угощал женщин с этой дорогой для него тарелочки с фривольным рисунком, в ажурных завитушках. И хрустальные рюмки, наполненные коньяком, взятым из винных погребов в Новочеркаске, ему также напоминали родину и женщин, прошедших через его руки. И вот перед ним совсем юная русская девушка с уверенным, красивым взглядом, которую не мешало бы приодеть по своему вкусу в изящное, из тонкого бархата, вечернее платье тёмно-вишнёвого цвета, с открытыми плечами и лифом, чтобы выразительно оттенялись её плечи, шея, грудь, едва прикрытые бархатом. Но сейчас такой возможности у него не было и вряд ли когда будет. Собственно, он и сам точно не знал, долго ли они тут простоят, так как фронт неумолимо двигался на восток, хотя иногда русские кое-где прорывали фронт и теснили немецкие войска. Говорили, будто бы на Сталинградском направлении русские наращивают мощную группировку, часть которой немецкая авиация подвергла сокрушительной бомбардировке. Бакинская нефть была уже почти взята, Ростов-на-Дону давно пал. Но сейчас майору не хотелось думать о событиях на фронте, где с каждым днём положение быстро изменялось в пользу немецких войск. Правда, они несут при этом колоссальные потери в технике и живой силе. А ему поручено вывозить из фронтовой зоны раненых, для чего и был создан госпиталь и налажена поставка медикаментов и продовольствия. Вот скоро начнут отбирать у населения провиант и в этом посёлке, а людям, чтобы не портить с ними отношений, придётся объяснить, что им будет якобы возмещён ущерб позже. Хотя его никто на самом деле не обязывал возвращать населению отобранное имущество, это не входило в планы оккупантов. Он уже почти точно знал – в отношении населения побеждённой России существовала особая селекционная нацистская доктрина, но в чём её конечная суть, Дитринц не интересовался. Ведь для него, как солдата рейха, была поставлена конкретная задача, которую он с честью и выполнял. Хотя в спецслужбах у него был друг, который иногда проговаривался о том, что именно происходило в целом на фронте и в тылу, в частности, здесь действует большевистское подполье, руководимое чекистами, что в Новочеркаске одна группа уже ликвидирована. Русские шпионы проникали в войска под видом полицаев, а в ресторанах работают чекисты, переодетые в официантов, среди которых большей частью были женщины. Русские умели конспирироваться под кого угодно, что у них хорошо выходило, чему, впрочем, научились в годы террора при царском режиме. И под влиянием своего бдительного друга сейчас майор сам задумался, нет ли и в посёлке ставленников чекистов? Вот хотя бы этот же старик Осташкин, вдруг почему-то с поразительной лёгкостью согласился быть старостой. Впрочем, Дитринц знал сколько угодно

случаев, когда русские шли к ним служить из кровной ненависти к большевизму. Это были истинные граждане своего Отечества и обманутого большевиками народа...

Германия быстро очистилась от большевизма, возникшего в грозном для страны восемнадцатом году двадцатого столетия. Фюрер уже тогда начал свою будущую чудовищную карьеру, но что касалось Дитринца, он с самого начала не признавал его нацистскую доктрину, и уже значительно позже, опасаясь репрессий, ни перед кем не раскрывал своих противоположных убеждений, даже перед своими друзьями. Правда, он никогда не был ярым антифашистом, просто, как нормальный человек, стоял вне политики и отрицал крайние взгляды своих товарищей, которыми они проникались ради народившегося тогда модного поветрия. Ведь в то время нацизм только вступал на политическую арену, которым почти слепо увлекалась молодёжь, начитавшись Ницше, видя в фашизме своё предназначение в борьбе за национальные и мировые интересы, поскольку Германию попирали такие европейские державы, как Франция, Англия, не давая ей выхода на мировой рынок. А внутри самой страны еврейские кланы проникали во властные структуры, в искусство, науку, бизнес, наконец, который был практически наводнён немецкими евреями, и чистота германской нации стояла под угрозой. Дитринцу же казалось, что Гитлер, испытывая личную ненависть к евреям, перенёс её на все народы, что они якобы оказались под угрозой евреизации всего мира, который надо было немедленно спасать от их мирового засилья и захвата власти. А заодно уничтожить и другие неудобные для Германии народы, коими опасней всех были славянские, издавна становившиеся на пути немецкой нации, перечёркивая их планы великодержавного шовинизма, которым были увлечены предки ещё со времён первого рейха. И русские всегда решительно пресекали имперские интересы Германии. Поэтому на этот раз с ними решили во что бы то ни стало покончить.

Однако Дитринц, хотя и желал успехов своей стране, тем не менее втайне он не признавал фашистские методы борьбы за господство миром. И зачем переводить столько денег на оснащение армии современным оружием и т.д., лучше всего развивать экономику, с помощью которой подчинить себе весь мир. Ведь любая война наносит наибольший урон, и прежде всего своей экономике; сперва вроде бы и потекут баснословные прибыли, а потом наступит неизбежный упадок экономики. Но, как правило, до поры до времени это упорно не признаётся. И потом, чтобы исправить положение, бывает уже поздно, все упрямо верят в свои ничем не ограниченные возможности, а Гитлер к тому же до безумия фанатичен и психически неполноценен, что считалось признать – значит, стать крамольником и врагом великого рейха. Дитринц эти мысли носил в глубине сознания, предпочитая о них вовсе не думать, а то и совсем безжалостно подавить в себе, так как планы Гитлера, похоже, уже близки к осуществлению. Стоит ему, Дитринцу, высказать какие-то сомнения даже среди либерально настроенных товарищей по оружию по поводу напрасно затеянной военной авантюры, и он будет выдан гестапо и заключён в концлагерь, как изменник рейху и фюреру. А чтобы этого не случилось, он и служит верноподданнически в меру своих возможностей, и действует в силу складывающихся обстоятельств. Вот и сейчас в его руках была красивая русская девушка, держа не столь грациозно и эффектно поданную ей рюмку. К его сожалению, она была лишена той аристократической выучки и артистизма, которым следовал сам, но ей прощал это её не умение так держаться. Но именно из-за того, что девушка достаточно мила, с оттенком восхищения на лице от сознания, что она в обществе европейца самого изысканного воспитания, которому вовсе не грешно отдаться, получив при этом удовольствие. Он хотел, чтобы Шура так думала и мечтала вкушать его любви, в её глазах ему казалось вспыхивали огоньки не разбуженной страсти, что в ней дремлет вулкан чувственности...

Дитринц на время забыл о патефоне, который достал из нижней части сейфа, а потом вспомнил и открыл его, завёл ручкой механизм, поставил пластинку с музыкальными пьесками Иоганна Штрауса весёлого романтического характера. Потом он зажёл свечи, стоявшие в трофейном бронзовом канделябре. И выключил свет: за окном был слышен глухой звук дизеля,

подававшего свет в комендатуру и госпиталь, где шла борьба за жизнь тяжелораненых солдат и офицеров, которых, правда, потом отправляли в городской госпиталь, где для их излечения были более подходящие условия. Перед тем, как сходить за Шурой, майор велел своему адъютанту переменить постель – на новые, крахмальные, хрустящие простыни, ещё не бывшие в употреблении. Такое постельное бельё русская девушка вряд ли когда-либо видела, но это он сделал не столько ради неё, а сколько исключительно в угоду себе. А любовь к своей персоне у него ставилась превыше всего, но нисколько не входила в противоречие со службой.

Майор снова взял рюмку, мило улыбаясь, глядя девушке прямо в глаза. Шура взглядывала на офицера коротко, пытаясь понять: что он вообще думает о ней? Музыка ей была неизвестна, так как раньше её нигде не приходилось слышать. Это было для неё полным открытием, что вообще существует такая музыка, хотя доводилось слушать в городе по радио, но другого содержания – больше патриотического и реже романсы, оперетты. В кино ходила также не столь часто, книги читала довольно редко, поэтому она не могла по-настоящему тягаться с немцем в знании мировой культуры и искусства. Но он, кажется, от неё этого и не требовал, он целенаправленно добивался удовлетворения своего вожделения, чем неумолимо привлекал к себе, как рок, как неизбежное испытание, для чего и была создана женщина. Хотя по советским меркам наслаждение – вовсе не удел для советских людей: они должны трудиться и полноценно духовно отдыхать, впитывая атмосферу советского образа жизни. Семья существует как ячейка самого передового общества за освобождение женщины от пороков прошлого, что она предназначена единственно для продолжения рода и труда во имя процветания страны. О любви почти не упоминалось, словно её и не должно было быть, как пережитка проклятого прошлого, втягивавшего женщину в разврат. И Шура не знала, разделять ли ей эту официально бытовавшую точку зрения на женщину, хотя чувствовала: самое лучшее что есть в этой жизни – любовь, которую она испытала и была готова пронести по жизни с любимым мужчиной. Но сейчас его нет с ней, и будет ли вообще, останется ли он жив, тогда как она живёт без него одной памятью о нём, да и то уже стала забывать Сергея. Может, это оттого, что когда-то была в него всего лишь влюблена и вообще к нему не испытывала настоящей любви. А иначе ни за что бы не согласилась на прогулку с немецким офицером, который умело пробуждал в ней вновь женщину, подавленную разлукой с того мгновения, как только ушёл воевать Сергей. И самое страшное то, что ей нравилось находиться в обществе офицера, который виделся ей, как приятный сон. Когда он доставал патефон, когда ставил пластинку и заводил, Шура со страхом закрыла глаза, желая, чтобы этот счастливый вечер не стал сейчас реальностью. Это же позор, это же предательство не одного Сергея, но и родины. Но когда заиграла музыка, она забыла о своём страхе, открыла глаза – горят свечи; от неожиданности она вздрогнула, словно очутилась в сказочном мире. Смущённая улыбка тронула её лицо, глаза слегка от удовольствия прищурились. Наверное, такой и должна быть любовь или всё то, что её предвещает. Звон хрустальных рюмок вибрировал в озарённом свечами воздухе и как бы сливался с ним, что всё окружающее волшебным звучало, сливаясь с музыкой Штрауса. Именно так поэтично пояснил офицер то, что сейчас происходило у неё на глазах, предлагая ей приветственным жестом выпить. Она пригубила, напиток показался ванильно-сладким, с привкусом жжёного кофе. Шура выпила короткими глотками всю рюмку. Он подал ей дольку лимона, похожего на диск солнца, потом взяла шоколадную конфету с начинкой какой-то ягоды.

Через десять минут Дитринц налил ей ещё рюмку, говоря Шуре, что у него давно не было такого чудесного вечера. После второй выпитой рюмки он пригласил девушку потанцевать. Она, под влиянием хмеля, решительно встала, её рука уверенно легла на его мундир с крестами, в пуговицах которого отражался колеблющийся свет от свечей. В своей жизни Шура почти не танцевала, поэтому не знала, правильно ли в такт музыке она передвигалась? Но офицер своими точными движениями как бы их подсказывал, и тогда у неё что-то стало немного получаться. Он заглядывал ей прямо в глаза так близко, что у девушки перехватывало дыха-

ние, в голове путались мысли. Вдобавок, до этого она тоже не пила коньяк, хотя спиртным Шура вообще раньше никогда себя не баловала. И потому быстро опьянела, глаза блестели. На душе стало как-то воодушевлённо легко и весело. Дитринц осторожно поцеловал её в губы, потом ещё и ещё, она же безмолвствовала, чувствуя на щеках жар, а на спине прохладную испарину. Здесь было не очень тепло, стёкла окон изукрашены морозными узорами, с мраморно-белыми оттенками. И музыка, кажется, расшифровывала, поясняла их красоту, а её воображение дофантазировывало их, что краше этого вечера в её жизни ещё никогда ничего не было. Она не заметила, как они остановились, как он долго целовал, касаясь рукой слегка груди, отчего по спине побежали холодком мурашки.

И вот, когда пластинка закончила вращение, он отвёл девушку за стол, галантно поцеловал руку, чем вызвал у неё невольное смущение, а сам пошёл к патефону, перевернул на другую сторону пластинку, затем вернулся к Шуре, взял рюмку, приглашая последовать его примеру и она подчинилась, он ждал, пока девушка не начнёт пить. И всё это делалось молча или одними жестами, он был невероятно учтив, предупредителен, отчего она порой терялась, пребывая в каком-то неестественном напряжении. Офицер внушал ей какую-то покорность вовсе не потому, что был человеком вражеской армии, а каким-то колдовским обращением подчинял её своей неограниченной воле. Под его влиянием Шура выпила коньяк вместе с ним.

– Вы хотите меня напоить? – спросила она со свойственным ей высокомерием и заносчивостью.

– О, найн, бите, так не думай. В такой вечер – это подарок судьбы бить с такой девушка, как ты, Зуля. Я люблю тебя, и мне не нужен твой плохой здоровья... и вот чтё у меня есть, – и он показал ей прозрачный пакетик на весу, отчего Шура покраснела до корней волос и вдруг от волнения поперхнулась, закашляв. Она скорее догадалась, чем поняла, что он ей показал какую-то минуту назад, хотя она ясно не увидела, но инстинктивно догадалась о том, что немец имел в виду, она от кого-то уже слышала о такой защите от нежелательной беременности.

– Ох, простите, я не больна, нет! Но... – она решительно не знала, что хотела ему сказать, хотя его демонстрация заботы о здоровье женщины её воистину так тронула, что она почувствовала себя перед ним беспомощно голой. И ей было неприятно от одной мысли, если вдруг бабы начнут за глаза презрительно звать её немецкой шлюхой, с чем она не могла не согласиться, и это отбивало у неё всякое желание. К ней пришла успокаивающая мысль, что будь на его месте такой же галантный русский мужчина, она бы, возможно, испытала то же самый соблазн...

– Как? Тебя я напугаль? – удивился Дитринц. – Или ты вспоминаль свой жених?

– Нет, по-вашему, найн, я немного изучала ваш язык в школе! – бодро сказала Шура, чтобы отвлечь его от разговора о женихе, которого ей, казалось, сейчас никогда у неё не было. Шура вежливо улыбалась офицеру, совсем не похожему на фашиста, что её успокаивало, ублаживало совесть, ощущая уже себя почти пьяной, что он вскоре понял и налил ещё по рюмке, так как сам был трезв, как русский холод. Он так и сказал приподнято, стараясь своим мужским обаянием сломить её внутреннее сопротивление, и это он ясно читал по лицу девушки. Она пребывала в том состоянии, когда в душе борются две противоположные силы: нельзя и можно. На стороне «нельзя» – обет верности, данный любимому мужчине, и «можно», когда этому противостоит «нельзя». И она не могла его обойти или просто цинично переступить подавлением стыда и совести. Дитринц помнил, как в своё время возникла в газетах шумиха, направленная против австрийского психоаналитика еврейского происхождения Зигизмунда Фрейда: некоторые его работы о бессознательном и сознательном он читал с интересом, проникнувшись симпатией к его экспериментальному учению, произведшему своего рода революцию в психиатрии и психологии. Фрейд создал новую школу психоанализа, став тем самым его основоположником. Но приход к власти нацистов вынудил учёного покинуть родину. Однако посеянные семена психоанализа проросли в умах людей запрещённым знанием...

Собственно, о Фрейде он вспомнил совсем не случайно, так как ответ девушки, не желавшей ему говорить о женихе, наводил на мысль, что она им почти не дорожит, что ей несказанно приятен этот вечер и он сам, как мужчина, которого в ее жизни еще не было, и ради этого она готова закрыть глаза на все обеты, ведь такой чудный вечер может больше просто не повториться...

Четвёртую рюмку Шура пила уже по наитию, желая сполна получить удовольствие от дорогого напитка, какое, быть может, она вновь испытает не скоро, впрочем, уже в таком виде вряд ли когда-либо. Хотя наряду с этим всё было просто – она пыталась заглушить спиртным совесть, защититься от самой себя...

Потом она уже смутно помнила, как он взял её за руку, и они пошли танцевать, как он целовал в губы, всё властней, всё горячее, всё ненасытней и сильно, откровенно прижимал её к себе. Она нарочно закрыла глаза, и это наваждение любви и красоты продолжалось для неё, казалось, бесконечно, впрочем, пока не закончилась музыка. А он подвёл её к кровати, на которую вдруг положил, как дорогую быющую вещь, принявшись целовать, и, став на колени, начал раздевать.

– Задуйте, пожалуйста, свечи, – сдержанно шепнула она, и он быстро исполнил её каприз, правда, не тут же поняв слова девушки, однако её сокровенный шёпот ему многое сказал, после чего он стал действовать активней...

Позже, когда восторг любви схлынул с неё, Шура пребывала в каком-то приятном обморочном дурмане. Не оттого, что она была пьяна, а оттого, что произошло новое рождение в ней женщины, мечтавшей о таком же сказочном счастье. Дитринц оказался искусным любовником, она даже не знала, как это происходит вообще; но чувствовала, что так должно любить женщину, и лучше, кажется, трудно что-либо добавить, чтобы быть счастливой. Действительно, он предусмотрел всё, чтобы ей снова захотелось пережить с ним те же самые ощущения. И ещё час спустя они были одним целым, а через полчаса Шура оделась. Дитринц понимал, что надо отвести девушку домой, но она этого не хотела; достаточно вывести её из бывшего школьного сада, а там она сама дойдёт, ведь идти ей всего пять минут.

В посёлке в этот долгий вечер, как никогда, почти во всех хатах ярко светились лампы. Из хаты Василисы Тучиной доносилось разудалое веселье, эти русские бабы умели веселиться, и для этого им не нужно было перед ними притворяться. И Дитринц решил сходить туда, пригласив Шуру. Но она, чувствуя себя пьяной, воспротивилась, поскольку тогда уж точно она навеки станет объектом пересудов и нападок, если уже не стала. От одной этой мысли к сердцу подступило недоброе предчувствие. И она не могла офицеру сказать, чтобы он забыл о её существовании.

Всё-таки они вышли из комендатуры вместе и за садом не расстались, так как Дитринц шёл с ней под руку, вернее, он велел ей взять его под руку, что она беспрекословно исполнила, невольно воображая себя его супругой. В этот момент она подумала: если бы он предложил уехать с ней в Германию, она бы безропотно согласилась стать его законной женой. И она подчинялась неписанному закону – раз отдавшись мужчине, считать его своим мужем, соблюдая ему верность. Но в отношении Сергея это правило безвозвратно нарушила, о чём жалеть теперь было бесполезно...

Глава 19

От глубокого белого снега кругом было так светло, словно вся земля облита светящимся молоком, вскоре застывшим в сметану. На юго-востоке поднималась полная луна, как светящаяся горловина стекла керосиновой лампы среди тёмной бездны. На улице не было ни души; когда вышли на дорогу, Шура быстро поцеловала офицера, дотянувшись до лица на цыпочках, и побежала домой. Дитринц знал, что солдаты, стоявшие у Костылёвых, сейчас гуляли. После

того, как он отчитал их, они перестали приставать к ней. И тогда он решил, что сделает её своей любовницей, что и произошло в этот вечер и отныне в условленное время Шура станет его постоянной гостьей, о чём они уже условились...

У Тучиной – дым коромыслом. На дворе стояли бабы помоложе, и пьяные солдаты нагло приставали к ним, валяли в снег; они кричали и визжали. При появлении офицера солдаты вскочили, вытянулись по стойке смирно. Дитринц заговорил с ними на повышенных тонах, хотя в их поведении он ничего не видел зазорного, ведь и бабам, видать, тоже было очень весело. Но в их гульбище они не участвовали, довольствуясь лишь ролью зрителей. Потом он увидел, что это были вовсе не бабы, а молодые девки, повязанные в тёмные шерстяные платки...

Дитринц вошёл степенно, с важным видом, в сильно накуренную и натопленную хату, где патефон играл весёлую музыку, и солдаты разухабисто дурачились с двумя девками. Его помощники, узнав, что пришёл комендант, как раз одевались. Он, довольный собой, позволил им не торопиться и продолжать веселье. Увидев Клару, Дитринц решил, что в госпитале дежурит красавица Надя на пару с армейским фельдшером Румелем. Обер-лейтенант Мангоф и капитан Бергман увидели, что Лида и Тося стали тоже одеваться, при этом как бы не обращая внимания на них. И только один вид строгого коменданта с портупеей и кобурой пистолета внушал им непреодолимый страх. Хотя офицеры тоже были при оружии и сейчас довольно громко переговаривались...

Домна и Василиса сначала смеялись со своими постояльцами, потом с младшими офицерами. Причём Василиса больше не со своими, а с подружками, то же самое вытворяла и Домна. Натаха Мощева сидела за столом, не чая как уйти домой, где её квартиранты хозяйничали сами. Узнав, что она уходит на гулянье, солдаты махали ей задорно, чем вызывали у неё сильную обиду. Ведь не один не проявил к ней должного внимания, как к женщине, а чем они собирались заниматься, это вызывало у неё крайнее любопытство. И сейчас ей казалось, будто немцы привели в её хату соседку Ульяну Половинкину и всюю с ней забавляются. Хотя у самой Ульяны были свои постояльцы. Видя, что девки намыливались домой, Натаха тоже вышла из-за стола одеваться, кажется, достаточно выпила, натанцевалась. Не так давно один коротконогий солдат обнимал и лез целоваться, а теперь как убитый спал на кровати.

Майор Дитринц, поняв, что своим появлением помешал веселью, обменялся дежурными фразами с Мангофом и Бергманом, пошёл восвояси. Во дворе солдаты по-прежнему рьяно зажимали девок, поднимавших страшный визг. Дитринц вышел на заснеженную дорогу, где-то слышалась отдалённая стрельба, война не прекращалась и ночью. А в этом посёлке для его солдат интендантской роты одно приволье, думал он на ходу, и вспомнил, как капитан Бергман докладывал, что приходил староста, бабы живо усадили старика за стол, всучив ему стакан самогонки. Осташкин, конечно, не отказался – выпил, а потом крыл матом баб и девок, что оскрамлились вконец. Домна обозвала его предателем и вытолкала из хаты под хохот немцев...

После ухода коменданта солдаты потащили сестёр Овечкиных, Ольгу и Арину, на огород, где стояли скирды сена и соломы. Девки вырвались и – наутёк по огородам, утопая в глубоком снегу, не чувствуя ни капли холода. Солдаты, распалённые крепким самогомом и любовным азартом, всё-таки настигли их. Они уже не визжали, а только плакали и сквозь слёзы истерично смеялись...

Но оставим девчат на суд их совести; весь вечер они, отведав самогонки, соперничали в остроумии с немцами, ведя себя крайне разнузданно, тем самым пробудили против себя всю солдатскую пылкость и агрессивность...

Алёна Чередникова была сначала заодно с Овечкиными, но вела себя намного сдержанней и приличней, чем они. Её облюбовал ефрейтор, она уходила домой – он за ней. Алёна – в хату, а потом снова выходила. Ефрейтора уже не было, она украдкой вздыхала. Её мать Донья дома гадала пожилому немцу на картах, вызывая в нём задумчивость. А днём раньше сама

Чередничиха нагадала Арине Овечкиной, что та уедет с немцем в Германию. Но девушка на это всего лишь посмеялась, хотя втайне верила в гадание и хиромантию...

Лейтенант Мангоф и капитан Бергман вскоре увели Клару и Тоську и по очереди заводили их в комендатуру. Пока одна парочка прогуливалась по посёлку или грелась в кабинке фургона, другая занималась услугой похоти...

В эту ночь Домна осталась в хате Василисы, дочери которой находились у Верстовой, где Агапка, мать Клары, уложила их спать. Муж её, Тимофей, как повёз в глубокий тыл технику в качестве сопровождающего, так и не вернулся, и Агапка думала, что в живых его уже нет и о своей догадке никому не говорила и боль свою держала в душе.

Унтер-офицеров увели за собой Лида Емельянова и Лиза Винокурова. Упомянуть о других девках, и что происходило с ними в эту ночь – нет нужды, будто некий властелин-искуситель овладел ими всеми. А на самом деле всё это с ними вытворяла природа. Натаха Мощева неприметно одна ушла домой, где постояльцы только что закончили игру в карты и объявили хозяйке, что ставили её на кон по пять раз, и один из них выиграл, за что хозяйка должна переспать с ним. Это был нагловатый немец с резкими чертами лица. Натаха полагала, что они над ней насмеялись, решив таким образом потешить себя, а у самой от самогонки кружилась голова, и пошла спать, задув лампу. Немцы выходили на двор; она слышала, как они громко переговаривались, мочились...

Стала было засыпать, как вдруг возле себя почувствовала какое-то шевеление. На ней была ночная рубашка, немец надвинулся прямо на лицо. Натаха замерла, и от страха даже не смогла крикнуть, у неё страшно перехватило дыхание, сердце застучало суматошно, она вся покрылась потом. Лицо немца, однако, еле различала, а он уже распоряжался ею, как своей женой. Натаха закрыла глаза и про себя бормотала чуть ли не со слезами: «Ну, ты полегче, лешак, чи то правда, есть така услуга, тёмно как, и кто мя счас увидэ...»

* * *

Майор Дитринц взошёл на крыльцо ординаторской, постучал; что-то подозрительно долго не показывался фельдшер Румель. Госпиталь был рассчитан на полсотни коек, на отопление порубали все клубные скамейки, теперь завезли пиленные дрова, заготовленные прямо на станции, куда прибыл целый эшелон брёвен, вывезенный из русских лесных зон, где, говорили, засели партизаны, превратившие леса в свой оплот обороны. Но топить одними дровами было бесполезно – доставили десять тонн угля, часть развезли по хатам для обогрева немецких солдат. И всё это была заслуга его, Дитринца, народ должен быть ему премного благодарен, что в лице его немецкое командование заботится о нём.

Румель – невысокий, с залысинами, с красными глазами, в которых, однако, затаилась некая тайная страсть, не выходящая из глубины сознания. Он надевал белый халат только во время обхода раненых, и больше ходил в мундире. Румель с показной благожелательностью встретил русских девушек, больше всех ему нравилась Надя Крынкина своими золотистого цвета волосами, заплетёнными в косу и уложенную на затылке в виде восьмёрки. Она была рослая, статная – выше Румеля, что того нисколько не смущало, так как она заставляла невольно, не догадываясь того сама, его волновать. Когда она находилась рядом, у фельдшера все валилось из рук, чего не происходило ни при Ксении, этой невозмутимо спокойной девушке, ни при Кларе, этой толстогубой с глуповатым видом на пухлощёком лице, ни при Доре, маленькой, вертявой, со вздёрнутым носиком, девушке. Глаза у Нади, казалось, всегда смеялись, так как по своему строению такими были уголки её глазниц.

Как ни пытался Румель заговорить с девушкой, она не понимала его, а потом видел, как Надя со смехом рассказывала подругам о нём, как пытался ухаживать за ней. И скоро догадался, что в её глазах он казался ей смешным и жалким. Это его так задело в самолюбии, что

Румель вновь смотрел на неё, как на низшее существо, презираемой нации истинными арийцами. Он уже всем этим русским свиньям давал ясно понять, чтобы вели перед ним покорно, не то поплатятся свободой. А эта, пользуясь, что он ухаживал за ней, ведёт себя нагло почти наравне с ним, солдатом рейха, принадлежащим к самой чистой и высшей расе. Румель чувствовал, что служил явно не на своём месте, где почти невозможно проявиться во всей преданности фюреру и его делу. Он уже дважды писал рапорт о переводе его в спецчасть, которая очищала территории от «низших рас». Но его патристическому настрою, увь, наверху почему-то не вняли. Румель смотрел на раненых солдат и преисполнялся высшей ненавистью к русским: как они посмели изуродовать солдат великой нации, за что они подлежали безжалостному истреблению! И ему было противно выслушивать миндальную речь майора Дитринца, явно заигрывавшего с этим русским скотонародом. Он бы, будь на то его воля, всех бы поставил на колени, и чтобы целовали его сапоги. Румель тогда высоко держал голову, представляя себя на месте коменданта. Однако он не мог не признать, что русские девушки очень эротичные, чувственные и наивные. Но одеты они отнюдь не по-европейски – сразу видно – это дикое, низшее племя без признаков высокой культуры.

В этот вечер начальство куда-то разошлось; в госпитале была Ксения и Надя, которым он, Румель, поручил измерять температуру тела у раненых солдат. Легкораненые пробовали заигрывать с девушками. Усаживали их к себе на кровати и что-то пытались им задорно по-своему объяснять. Румелю это надоело, он подозвал Надю, им хватит и одной, а эта пойдёт готовить шприцы и бинты. И он велел ей уйти в ординаторскую. В госпитале дежурили два немца-санитара. И они уже не раз пробовали затащить в уголок девушек, но Румель, ссылаясь на приказ начальника госпиталя, накричал на них, но тут его вывело то, что Надя смеялась, когда они брали её за руки, тогда как от него она вдруг шарахалась, чем его немало злила.

Румель жил в ординаторской вместе с двумя хирургами, которые были на время отозваны в полевой лазарет под Ростов, где требовалось произвести срочные операции. Он имел от них свой отдельный угол...

В ординаторской Надя была совсем одна. Румель пришёл чуть позже: снял халат, под рукомойником тщательно вымыл руки. Потом он смотрел, как Надя перебирала для кипячения использованные шприцы и, на его взгляд, делала это неумело. Румель подошёл и указал, что в одну кучу шприцы не складывают, но сейчас его это не очень волновало. Он решительно достал бутылку шнапса, две стопки. Нарезал копчёную колбасу и решительно подозвал девушку.

Надя, не боясь немца, подошла к Румелю, увидев бутылку и аппетитную закуску.

– Я опять не так делаю? – спросила она, не поняв того, что он ей недавно с педантизмом толковывал.

– О, всё так, но пора и отдых зналь! – коверкая слова, сказал фельдшер, приглашая её сесть на табурет. Она села, он подал ей стопку шнапса.

– Я такую водку не пью! – отрезала она, но взяла, немец навскидку, подражая русским, залпом выпил. Надя поднесла ближе стопку и от запаха спиртного скривилась, хотя был он почти не ощутим. Но ей очень хотелось вызвать у немца к себе отвращение.

– Карош дойчен водка! Бите, бите, гуд! – подгонял её Румель. – Ти не русскай? Плёхо... водка не пьёшь?!

Надя попробовала выпить, не придавая значения угощению назойливого немца. Она опорожнила к своему удивлению стопку и ладошкой хлопала слегка себя по рту, хотя шнапс ей понравился. В желудке тотчас приятно запекло, однако, боясь опьянеть, она хватала руками с тарелки коляски колбасы, сыра, засовывала быстро в рот, чем вызвала у Румеля бешенный смех. И следом он налил ещё. Но пить она отказалась и хотела было встать, он, играючись, усадил девушку на место. Надя дурашливо засмеялась, в следующую секунду она со страхом взглянула на немца, у которого чёрной страстью горели глаза. Он вдруг обхватил её вокруг

шеи и принялся целовать в лицо, лихорадочно ища её губы. Надя стала вырываться, но немец крепко обняв её за талию, резко приподнял и повалил на стоявшую в шаге от стола кровать. Девушка сопротивлялась всем его усилиям сломить её. Почувствовав, что он задрал юбку и оголил бёдра, она визгливо закричала, дрыгая ногами, пытаясь от себя оттолкнуть врага. Но он рукой придавил их, а другой начал зло, отчаянно хлестать её по лицу, повторяя: «Русский швайн, русский швайн!» Надя устала бороться, выдохлась, откинув голову назад, чувствуя, с каким азартом немец раздевал её, а потом навалился всем своим тщедушным телом. К сожалению, ему помог выпитый ею крепкий шнапс почти на голодный желудок, и она совершенно обессилела от хмеля. И это ощущение опьянения, как ни странно, раньше ею не испытанное, было очень приятно. Она вспомнила, как дома немцы во дворе зажимали её возле сарая. Но те просто баловались, ведь они не были такими агрессивными как Румель. Хотя к тому времени уже перепились, и казались ей донельзя смешными...

После того, как он овладел ею, Надя думала, что могла бы вполне с ним справиться, но её пугала мысль, а вдруг немец добьётся угона её в Германию, и тогда никто не спасёт, а Румель будет радоваться. Впрочем, он и теперь был чрезвычайно доволен достигнутым успехом. Она лежала, не шевелясь, привыкая к своему новому положению. Надя вспомнила Андрея Перцева, над которым порой откровенно издевалась и теперь жалела, что не отдалась ему. Хотя он не делал к этому ни одной попытки вот так же, как немец, силой овладеть ею, ведь сама была далека от такого искушения, но о чём, однако, смутно догадывалась, что иногда испытывала неосознанное влечение, и в таких случаях парни казались ей милей, чем обычно. Но она считала, что на месте Андрея, ухаживавшего за ней, должен быть тот, который бы донельзя сводил её с ума. И к нему она относилась по-соседски равнодушно. И вот так всё гадко получилось, ведь какой-то плюгавый немец насильно овладел ею. И она запоздало думала: насколько жестоко обходилась с Андреем, и настолько жестоко обошлась с ней судьба. Нет, она не плакала, вовсе не жалела себя, она ненавидела Румеля тихо, затаённо. Но когда он смотрел на неё, Надя опускала глаза, лежа под солдатским одеялом, укрытая им, фельдшером. И в этот момент послышался стук в дверь, потом ещё, и она, не глядя на немца, стала одеваться. А Румель заметался, прятал бутылку, закуску и только потом пошёл открывать, облачаясь в медицинский халат.

Надя была ещё в его комнате, когда вошёл комендант; он придирчиво оглядел ординаторскую и фельдшера, нагло и проницательно глядевшего на Дитринца. Румель чеканно отпартовал, что в госпитале всё без происшествий, всё идёт по распорядку. Комендант заглянул в комнату, увидел причёсывавшуюся у зеркала девушку, почти не смотревшую на него. На её красивом простоватом лице застыла задумчивость, тревожащая страхом: что ждать ей ещё в этот злосчастный для неё вечер? И потому как она нехотя причёсывалась с обращённым в себя несколько испуганным взглядом, Дитринц тотчас догадался, что до его прихода здесь могло произойти. Эта догадка досадно корябнула по сердцу, что фельдшер, должно быть, покусился на честь девушки без её на то согласия, а такие типы всегда вызывали у него презрение, граничащее с брезгливостью. К тому же его невзрачный вид вряд ли располагал к себе девушку. Но это не помешало Дитринцу подумать, будь у Нади столько же достоинства в самооценке себя, как и у Шуры, он бы пожелал её с той же страстью, что и Шуру, если даже не больше, эта была поэтичнее и женственнее высокомерной и заносчивой Шуры. Но такой она виделась ему до сегодняшнего вечера, а теперь Шура как бы стала проще, даже ближе и роднее; так что вся её недоступность оказалась манерной. Но от кого она её переняла, живя в такой беспросветной глуши? Скорее всего её воспитывала знаменитая русская литература?

Дитринц только несколько секунд смотрел на Надю, и ему этого было вполне достаточно, чтобы понять, что теперь, после Румеля, она ему не нужна, от сознания чего он повернулся к нему лицом, смерил высокомерным взглядом и презрительно козырнул. Румель только при-

щёлкнул каблуками сапог, с удовольствием провожая взглядом коменданта, не нашедшего для него больше нужных слов, нёсшего бессменное дежурство возле раненых солдат и офицеров...

Глава 20

Хутор Татарка имел давнюю историю, она уходила в седую старину. Это было время завоевательских походов татаро-монгол, когда города Новочеркасска не было и в помине. Это местечко в форме огромного холма также издавна называлось Бирючим Кутом. Сложилась легенда, будто здесь обитали волки, рыскавшие по степи в поисках добычи, а их самки в лощинах холма с выводками обитали в норах. Волки приносили им добычу до тех пор, пока волчицы выкармливали своих детёнышей. Однажды отряд татар истребил волчиц с выводками, и тогда решили на холме построить своё становище, откуда далеко обозревалось займище...

Ночью стая волков напала на спящих татар, уничтожив большую часть отряда, отомстив таким образом за гибель своих волчиц и потомства. Причём такие набеги волки совершали и позже, и с тех пор на этом холме больше никто не селился; а татары, якобы уступив им кут, спустились на северо-запад по этому же холму, пройдя несколько вёрст конным ходом, они переправились через реку Тузлов, свернули за холм, где на равнине, как бы в затишке, раскинули стан со своими наложницами из северных русских княжеств. И с тех пор образовался хутор Татарка, хотя там уже почти не осталось чистокровных татар. Основным занятием пришлового населения многие века было земледелие и животноводство. Разводили в основном овец и скот. Однако коллективизация подорвала основы этой деятельности, хотя до войны первое время почти всё население хутора работало в тамошнем колхозе. А потом это селение специально уже почти не занималось сельским хозяйством, так как власти резко ограничили частную жизнь хуторян. Тем не менее в каждом дворе для своих нужд стояла корова, а у кого-то водился и солидный гурт овец, имелся приусадебный клочок земли. С воцарением колхозного строя ни у кого уже не было больших угодий, и население в основном работало в городе, куда ходили пешком на стройки промышленной зоны, которая раскинулась на северо-востоке займища, тянувшегося на десятки километров. А на западе оно упиралось в отроги крутых лобастых бугров, которые пересекались балками и логами, окаймлённые рекой Яновка, по берегам которой очень давно образовался одноимённый хутор, взобравшийся с низины на высокие бугры и отлоги...

Хутор Татарка от того района, где стояли уже новые городские кварталы, отделяли заливные луга, через которые и ходили на работу. Чтобы попасть в старую часть Новочеркасска, стоявшего на холме в трёх километрах от хутора, поднимались по крутой горе, которая тянулась километра два, а потом ещё шли и по ровному пустырю, где в те годы был обустроен ипподром для соревнований и занятий кавалерийской части, стоявшей на самой окраине города. Потом она была расформирована, конюшни перестроили под танковые гаражи, а всю территорию обнесли высокой кирпичной стеной.

Коллективизация понудила людей бросать в городе работу и уходить в созданный колхоз, тогда легко поддались басням агитаторов, что в родном хуторе могут жить намного лучше прежнего. Но посулам властей далеко не все поверили, и не вернулись к своим истокам. Было время, когда некоторые владели лугами, торговали сеном и от этого имели всегда неплохие барыши. Но коллективизация отняла у них эту привилегию, обобществив луговые угодья и пашню, на которой выращивали издавна виноград, арбузы, дыни и другие овощи. А ещё были сады, так же отошедшие колхозу, как и всё, что к тому времени наживали своим неустанным трудом...

Когда началась война, всё поголовье скота, свиней, овец, лошадей отправили под нож мясокомбината. Люди же не спешили расставаться со своим хозяйством. Как бы там ни говорили историки, о мужественном сопротивлении врагу защитников, Новочеркасск пал после

непродолжительных упорных боёв. Ещё до взятия города ощутимо пострадала от бомбёжек промышленная зона. Артобстрелы заделали и сельские кварталы, но в своём большинстве дома уцелели. Немцы рьяно приступили хозяйничать на захваченной территории: население согнали на строительство аэродрома, быстро восстановили асфальтобетонный завод, чтобы соорудить взлётно-посадочную полосу и возвести инженерно-оборонительные рубежи. Для этой цели немецкое командование отдало приказ интендантским частям: обеспечить военные объекты славянской рабсилой.

Вот и расселили девчат по хатам хутора Татарка ни кто-нибудь, а полицаи, которыми оказались два брата: младший, Кеша, крупноголовый, коренастый, и старший, Феоктист, такой же, да только ещё матёрей и грубей. В своё время их отец Корней Свербилин разводил коней, владел лугами, сколотил приличное состояние, собирался дальше расширять своё коневодство, да только коллективизация всё напрочь переиначила, подорвав на корню бурно расцветавшее его дело. Всех коней (а их было с хороший табун), отобрали в колхоз, не оставив ему ни одного. Он почернел от горя, переругался с начальством, за что и поплатился – увезли Корнея неведомо куда. А его жена с горя вскоре умерла, сыновей до армии присматривала бабка. Потом они благополучно отслужили. У обоих были видные невесты, в один год сыграли свадьбы, а к началу войны у каждого было по трое детей. На фронт уходили в один день. Однако к месту дислокации воинской части немного не доехали, так как эшелон накрыла вражеская авиация бомбовым ураганом. Все – врассыпную. И братья Свербилины прыгнули с бетонного моста в реку, поплыли на тот берег и скрылись в лесу, оглянувшись – эшелон горит, некоторые вагоны разнесло в щепки и по откосу полотна лежали убитые призывники, ещё в гражданской одежде. Тут уж делать было нечего: возвращаться после бомбёжки не стали и целый месяц пробирались домой, где к тому времени шла вполне мирная жизнь. Но с каждым днём становилось всё тревожней, и братья Свербилины бесповоротно решили – на войну не пойдут. Насмотрелись в пути, что не все хотят служить в Красной армии, и власть противна, и появилась надежда, что немцы прогонят большевиков. Они чувствовали: многие проникнуты верой в очищение земли от безбожной власти, попившей вдосталь кровушки людской. А вслух боялись говорить об этом, ведь всем ещё были памятны безмотивные аресты, прокатившиеся по стране, заразной тифозной эпидемией. И люди стали бояться даже своих теней, не заговаривали с соседями, сторонились уличных знакомств. Любой мог вдруг стать врагом народа, а им, Свербилиным, потерявшим в беспощадной чистке отца и мать – это было понятно более, чем кому-либо. Ещё целый месяц Кеша и Феоктист скрывались у своих знакомых в соседней станице Грушевской. А когда пришли немцы, братья появились в хуторе и добровольно пошли служить полициями.

С их благословения в хуторе арестовали старого председателя колхоза, отобравшего у отца косяк лошадей в горькие дни экспроприации. В хуторе, как и везде, в основном остались бабы, старики да дети. На хуторского атамана Письменскова была возложена обязанность доставки молодёжи для строительства в Хутонке аэродрома.

Привезённых девушек из посёлка Новый полицаи братья Свербилины встретили как своих наложниц. А потом их разбили на две равные группы. Кеша взял Валю Чесанову, Анфису Путилину, Мотю Шумакову, Нину Зябликову, Стешу Полосухину, Лушу Куделину, а Феоктист – Глашу Пирогову, Машу Дмитрукову, Лизу Винокурову, Настю и Наташу Жерновых, Свету Матрёшину, Алевтину Клокову.

Нина Зябликова и Анфиса Путилина были определены к одинокой пожилой женщине, её двое сыновей воевали, муж умер перед самой войной. Были внуки, внучки, невестки, которые почти не навещали свекровь, и она почему-то с осторожностью встретила чужих девушек. Фелицата Антоновна была рослая, правда, немного сутулилась, лицо грубоватое, уже всё в морщинах, большой нос был как-то немного повёрнут на сторону, глаза пристальные, круглые, как бы вдавленные в глазницы, руки мосластые, все в узлах. Она держала корову, овец, из шерсти которых пряла нитки и вязала на продажу тёплые вещи. Родным внукам не все-

гда угождала своими изделиями, за что невестки таили обиду на скупую свекровь. В колхозе в зависимости от самочувствия она работала и не работала, часто жаловалась на боли в ногах: в сырую погоду открывался ревматизм, и вдобавок ещё страдала подагрой. И ей казалось, что от этого у неё барахлило и сердце, и болели почки, и простреливало поясницу.

Но соседи видели, с каким завидным упорством Фелица вкалывала на своём огороде; сад её постепенно пришёл в запустение, особенно за годы колхозного строя. Вот как-то раз нагрянул уполномоченный, и надбавил дополнительный налог на каждое дерево, что потом приходилось мужу умышленно спиливать по одному и выкорчёвывать, будто деревьев вообще не было. Но однажды подсобили лютые морозы – почти треть сада вымерзла – выкорчевали яблони, вишни, абрикосы и свободную землю превратили в огород, и овощей урождалось с лихвой. А теперь она одна еле успевает обрабатывать и огород, и управляться с коровой, правда, овец больше чем на половину убавилось. Одной уже весь гурт не осилить, да и много ли ей надо. Сыновья тоже подсобляли с неохотой, и мать не больно жаловала им долю своей прибыли; а куда, для кого она копила деньги – это оставалось тайной, хотя всем говорила, что кидает фининспектору, а самой, мол, ничего не остаётся. Но люди знали – Фелицата просто лукавила.

Иннокентий Корнеевич сам выбрал девушкам боковую горницу, где спала хозяйка. Фелицата Антоновна не стала перечить Кешке-полицая. Их отца она сильно уважала за размах поставленного коневодства. Своему мужу всегда ставила того в пример, что так и надо хозяйничать. Но сынки Корнея в отца уже не пошли, тут, конечно, времечко подкачал, а тут сами не хватят, как говаривала о них Фелица: работали молодые мужики – один шофёром, второй – трактористом. Свои огороды сорняком покрылись. Их жены – доярки, вроде бы в земле исправно ковырялись, а отдачи от их усилий – почти никакой, ну хоть что-то уродилось бы как надо, а то вот ничего. Да и то правда: их огороды находились в низине, где долго вёснами стояли паводки, и воды почему-то уходили только к лету, когда у других огороды уже во всю курчавились зеленью ухоженных культур. Говорили, что председатель нарочно им нарезал такой неплодородной земли, как наследышам главного хуторского кулака. Усадьбу Корнея колхоз с ходу экспроприировал. В хуторе насчитывалось около трёхсот подворий. Для колхоза – это огромная сила, потом некоторые опять уходили на работу в город, становясь вновь производственными. Индустриализации требовались рабочие кадры. Братья Свербилины тоже пытались уйти на паровозостроительный завод, но их туда не отпускали, считая неблагонадёжными...

И вот, став полициями, они норовили отыграться за все прошлые обиды. Первым пострадал председатель Носков, но его семью не трогали, затем вздёрнули секретаря партячейки Кучуева. Та же участь ожидала конюха Сварина, распорядившегося их лошадьми, бригадиров Пудова, Швыркина, причём все они были партийные. Семью председателя Носкова переселили в свою хату, чтобы узнали, как вести огород, похожий на рисовую плантацию, на котором земля подолгу не просыхала...

Немцы также стояли в хуторе, каждое утро через заснеженные луга они гоняли девушек строем на работу. А когда создали концентрационный лагерь, туда попали все те, на кого указывали атаманы Письменскову полицай. Из хутора они посадили туда более ста человек, правда, не прошло и месяца, как их выпустили из-за того, что пригнали большую партию военнопленных, из гражданских самых здоровых отправили в Германию, а безвинных отпустили.

Всё это Фелицата, жившая отшельницей и до оккупации, узнала от соседей; саму-то уже по старости не трогали. Иннокентий Корнеевич, бывало, к ней захаживал, она ставила угощение, самогон.

– Знай, старая: тебя, как скупердяйку, я пожалел, – говорил, бравируя, Кеша. – Ты мне будешь здесь нужней, а то подпольщики зараз совьют гнездо у нас под носом. Выжжем калёным железом, учти! Ты докладывай нам о всех незнакомых, и главное, что народец наш сгустарит про новые порядки, ясно, тебе, карга старая, гутарю?! – грубым тоном громко сказал тот.

– Зачем подпольщикам наш захудалый хутор? – удивлённо протянула хозяйка, плясая на полиция. Но, увидев, что тот грозно прищурился, прибавила: – Ну, ежели, как примечу что подозрительное, так сразу сообщу.

– Отлично, завтра я к тебе приведу девок, квартировать будут. И мне без возражений, ясно? Для чего? Не твоего ума дело! Может, для себя, – и он заржал, беря очередную порцию самогонки.

– Вот и хорошо, всё веселей мне будет, ты, Кешка, моих невесток, смотри, не забирай, я хочь с ними и не знаюсь, а всё ж свои...

Он, как обещал, привёл юных квартиранток, показал им комнату. Фелицата только рот от изумления открыла, а Кеша грозно зыркнул на неё, и она прикусила язык.

– Что там у тебя, комоды с золотом, чего так вся сразу завяла, как трава скошенная? – спросил Кеша весело, пропуская в горницу старухи девушек, следом рассматривавших на стенах в рамках фотокарточки, явившиеся для них будто диковинкой.

– Ой, да какое там золото! – махнула она небрежно рукой. – В хате места всем хватит. А тебе прямо не терпится ущемить меня, Кеша? А девки-то ничего – красотки, как на подбор: нешто правда нарочно ко мне для своей забавы пригнал, и где ты их взял? – заговорила подбострастно шёпотом Фелицата.

– А то как же, всё тебе рассказать, – много будешь знать! Работать на великую Германию! Ты за них передо мной головой отвечаешь. Заруби на носу: кормёжка вся твоя, и без финтов: мол, сама пухну с голода, я уж знаю тебя, как облупленную, тебе от фюрера зачтётся, ясно?

– Да ну тебя, Кеша, всё смеялся бы, у меня-то своих ртов сколько, – начала было она, но он прервал её резко:

– Полно брехать, знаю, как ты кормишь сношек и внуков, если ковырнуть твои стены, так и тайник можно сыскать! Всё, без нытья, я найду скоро и проверю! А сейчас бегу! – он заглянул к девушкам: – Ну, красавицы, обживайтесь, а завтра рано поедем на объект. Смотрите, убегать отсель бесполезно, а то за колючку упрячу! – он подмигнул зверски девушкам и ушёл.

Фелицата проводила постылого полиция и не знала, за что теперь ей братья. Рты прибавились, но готовить им она пока не собиралась. И уже чувствовала себя очень стеснённо, словно была не у себя дома. Она вспомнила, как Кеша заговорил о тайнике, и у неё опять всё внутри похолодело, а что, если правда примется искать, с такого дармоеда станется всё... Она заглянула в свою бывшую спальню:

– Так откель вас пригнали? – спросила Фелицата, разглядывая девок, которые были одна краше другой. – У Кешки губа не дура, ишь какие крали у него!

– Мы из посёлка Новый, – простодушно ответила Нина.

– Не-а, о таком и не слыхала, значит, издалека?

– Да что вы, почти рядом, всего часа за два можно дойти к вам, – сказала Анфиса и тут же спросила: – Вы хорошо знаете полиция? Он из ваших?

– А то из каких же, чёрт настоящий, пошёл на войну с братом. Но туда не доехали – разбомбили их поезд, и пришли назад, вояки! А вот мои сыночки бьют геройски фашистов. Меня чуть в концлагерь не взяли недавно. Хорошо Кешка отбил, – приврала она.

– Немцы у вас злые? – спросила наивно Нина.

– А ты добрых видела? – смеясь, спросила хозяйка в оторопи. – Сколько наших уже расстреляли ни за что! – покачала сокрущённо головой, прибавив: – А вас таких молодых угонят опосля – не боитесь? Кешка только и сможет отмазать. У него с их немецкими начальниками блат... Так что слушайте его! А ещё тут наш Атаман Письменсков, немцы его поставили...

Потом Фелицата показала им, где у неё хранится картошка, капуста, фасоль, чтобы сами еду себе готовили, не барыни. Она не преминула спросить о деньгах, но ни у одной, ни у другой не было ни копейки.

– А что же вы, голорукие, из дома вышли? – посетовала Фелицата.

– Откуда же у нас деньги, работавши в колхозе? – почти сердито заметила Анфиса, понимая, что хозяйка вымогает у них деньги, выходит, тому, о чём её предупреждал полицай, она и не думала подчиняться, а ведь он ясно сказал, чтобы она кормила их бесплатно.

Девушки уже сняли рабочие фуфайки, развязали на голове тёплые платки. В хате у хозяйки было тепло. За день они на аэродроме изрядно намёрзлись, там уже были сооружены взлётно-посадочная полоса, служебные помещения. И когда только успели построить прямо в голом поле, а рядом был город, видны его улицы. Кто-то из местных сказал, что здесь был аэродром для гражданской авиации. Немцы только сделали бетонное покрытие, так как их самолёты намного тяжелее наших. Собственно, аэродром был предназначен для авиаклуба...

Глава 21

Ночью были слышны взрывы, автоматные очереди не в самом хуторе, а где-то далеко, скорее всего в промышленной зоне. Девушкам спалось плохо, хотя они уже стали привыкать к оккупации и работе на немцев, из-за чего испытывали некоторые укоры совести. Кто-то бьётся с фашистами, проливает кровь и гибнет, тогда как они находятся в неволе. И кто в этом виноват, девушки точно не ведали. Правда, иногда они успокаивали себя тем, что не сами они пошли работать к немцам – те принудили их насильно. Так, вдали от дома, потекли их подневольные будни.

Через две недели на аэродроме появились немецкие самолёты со зловещими чёрными крестами. А потом они стали взмывать в небо. Куда летала вражеская эскадрилья, девушки сначала не подозревали. За ними зорко присматривали полицаи: когда кому-то надо было отлучиться в туалет, один полицай их сопровождал. И ни на шаг не отпускал девушек. После каждого приземлившегося самолёта требовалось очищать взлётно-посадочную полосу от намерзавшего шишками снега. Сильные морозы держались с начала декабря почти всю декаду, затем подул сильный восточный ветер, и тогда немного потеплело. Воздух повлажнел, шёл липкий снег, его наносило на взлётно-посадочную полосу мелкими волнами. И возникавшие снежные кочки надо было беспрестанно счищать. Иногда самолёты прилетали с какими-то повреждениями и пробоинами. Один при посадке даже загорелся, а лётчик еле выбрался из пылавшей кабины, после чего самолёт взорвался прямо на очищенной от снега полосе, и вокруг него в суматохе бегали немецкие техники и пожарные. А девушек согнали в холодное помещение, где продержали так долго, что они замёрзли ещё сильнее, чем если бы находились на морозе.

Ни Нина, ни Анфиса, ни другие девушки не знали о том, что происходило на фронте, где теперь находились наши, а где немцы. Поначалу они кричали, что Москва уже взята, Сталинград окружён и дни его защитников сочтены, Ленинград – в блокаде и тоже обречён на гибель, а значит, обеспечена скорая победа и капитуляция. Но потом немцы были явно чем-то встревожены, а полицаи злы, как черти. Тем не менее немецкие эскадры ежедневно совершали вылеты по нескольку раз, перед полётами самолёты заправлялись горючим, к ним подвозились какие-то ящики, которые распаковывали, а их содержимое загружалось под брюхо самолётов.

После этого девушки смекнули, что это были авиабомбы, а вскоре просочился слух, будто самолёты летали бомбить Сталинград, от сознания чего Нина и Анфиса отчаянно думали, что вовсе не по своей воле они помогали немцам. И очень переживали, что никак нельзя было предотвратить гибель города на Волге. Они слышали, как на станции Сортировочная, где немцы составляли поезда на Кавказ за нефтью, а эшелоны с техникой отправлялись на фронт, подпольщики взрывали склады и живую силу врага. Вскоре после этого в хутор наезжали немцы и совершали обыски во всех хатах. Однажды ночью они ворвались, став проверять документы. Полицаев Свербилиных тоже увозили куда-то, и они отсутствовали несколько дней, а вместо них девушек гоняли на работу через луг немцы с автоматами и собаками.

Только во второй половине декабря стало доподлинно известно, что под Москвой немцы были напрочь разбиты; причём такого небывалого поражения раньше они не знали и были отброшены на сотни километров. Вот почему в срочном порядке немцы стали перегруппировываться именно на юге, чтобы занять весь Кавказ и идти дальше за Волгу до Урала. На железнодорожной станции резко увеличили проходимость поездов с техникой, которые охраняли отборные части: на аэродроме появились новые, доселе невиданные самолёты. Для этого немцы начали расширять аэродром, где почти круглосуточно не прекращались работы.

Разумеется, весть об успехах наших войск на фронте радостью переполняла девичьи сердца, и они мечтали о скорейшем изгнании немцев из страны. Уже почти месяц они пребывали вдаль от своего посёлка и не знали, как там живут их родные, где их братья Гордей и Денис. Полицаи приходили к хозяйке и устраивали гульбище. Нина и Анфиса не могли отклонить наглое, навязанное предложение Свербилиных, когда они заставляли их пить вместе с ними самогон.

– Идите, идите, девки, нечего скромничать! – говорила Фелицата, подгоняя девок. – А то они будут думать, что я вас подучиваю против них. Не укусят, мужики сильные, а то сами приведут...

Нечего было делать, Анфиса бодро встала; пригласила Нину глазами идти с ней.

За столом они сидели по разные стороны рядом с полицаями. Хозяйка подавала жареную баранину с картошкой, и потом сама присела сбоку, важно облокотившись о стол.

– А теперь шагай Фелица, мы и без тебя управимся тут! – сказал решительно Кеша, погладив по спине Нину, отчего девушка дёрнула резко плечами, словно слепень укусил её. Хозяйка не сразу встала; её вид являл растерянность; она жёстко поджала нижнюю губу. Кеша как-то недобро сверкнул глазами, и она тотчас ушла, вжимая в плечи голову с седыми волосами.

– Ты сходи, погляди, что делается у тебя на базу, а сена мы тебе обязательно отщипнём от колхозного стога. Там всё равно нет скота! – сказал убажвающим тоном Феоктист, косясь на Фелицату, стоявшую в другой горнице.

Фелицата Антоновна пожалела, что сразу не ушла после того, как подала закуску. Но её смущало то, что братья без неё совсем распояшутся, и в поисках золота и денег начнут рыскать по её комодам да сундукам: поставец перевернут, гардероб переворошат. А оно у неё почти и не водилось, да и не дура, чтобы прятать у себя в спальне. После смерти мужа, сделавшего ей в своё время тайник в подполье, она решила свои сбережения перепрятать подальше. У неё там хранились серебряные подстаканники, вилки, ложки, хлебница, старой чеканки монеты, перешедшие ей от родителей. Сама она нажила позолоченный портсигар, золотые часы, серьги, крестик на цепочке и золотые зубные коронки. Были ещё и старые ювелирные украшения как из золота, так и серебра. Всё своё богатство она хранила в маленьком сундучке, в амбаре под ларем. Деньги она прятала совсем в другом месте, для чего пришлось оторвать половицу и продолбить отверстие прямо под печку, чтобы вошла в него одна шкатулка и заставить отверстие кирпичом да обмазать его, затем присыпав землей. Под печкой не так было влажно, чтобы без опаски хранились деньги. На свои расходы она держала ещё и в заначке, чего раньше никогда не делала, а теперь другое время – люди донельзя озлобились, завидуют чужой удаче... Она испугалась, когда Феоктист заговорил про баз, а что, ежели они всё перевернули там, в амбаре, а сама смотрела под печку. И пошла, оглянувшись на полицаев с растерянным, искательным видом.

– Да иди, шагай, старая карга! – отчеканил грубо Кеша и смотрел, пока она не скрылась за дверью. – Во, а теперь, девы, погуляем, небось, сами от тоски замлели, – и он бедово подмигнул Нине, затем перевёл игриво-весёлый взор на Анфису, которую уже облюбовал Феоктист, выглядевшую зрелей и старше Нины. Эта хотя и была красивее, но очень тихая, скромная, в душе ничем его не воспламеняла. Но были и другие девки: вертлявые, весёлые, озорные,

палец в рот не клади. Кеша с одной в пьяном виде провалился на хозяйской постели, а вот имя её уже забыл, кажется, Винокурова. Рослая девка, на это отзывчиво-смышлёная.

Хуторской атаман Письменсков запрещал вступать в связь с подневольными, но это их всё равно не сдерживало. Случай один забавный был недавно: парень с девкой о чём-то переговаривались. Он служил полицаем. А потом выяснилось, что этот парень являлся связным подпольщиков, визнававших через него о расписании полётов немецких эскадрилий. Потом его задержали с двумя минами с часовым механизмом, которые должен был пронести на аэродром. А девушку, естественно, тоже увезли в гестапо и больше о ней ничего не слышали. Она была хуторская, местная...

Нина, первый раз в своей жизни, не без гадливого чувства, попробовала самогон, и от одного глотка у неё вдруг так сдавило дыхание, что она не могла ни продохнуть, ни выдохнуть; глаза налились слезами, как криница родниковой водой, и ком подкатил и застрял, точно галушка. А потом зашлась в отчаянно-безудержном кашле. Кеша посмеивался, его загорелое с лета лицо, казалось, намазано горчицей, а теперь, зимой, задубело от морозов и казалось совсем чёрным, только зловеще блестели серые глаза. Ему было около тридцати, но выглядел на все сорок. Феоктист старше брата, а на внешний вид – будто помоложе, зато его лицо было ещё крупнее. В отличие от Кеша он был не настолько зол на прежнюю власть, однако всё равно тоже, как и брат, не мог простить большевикам гибель отца и раннюю смерть матери.

Кеша подал Нине в кружке воды, и она сделала несколько облегчающих глотков. Девушка после еле отдышалась.

– Не могу я, а вы заставляете, – с обидой вырвалось у неё, посмотрев на Анфису, выпившую всю стопку самогона, чему немало удивилась и ей стало вдруг страшно, что Анфиса так поразительно легко ведёт себя, будто всегда пила самогон. А может и пила, ведь она раньше мало её знала. И Нина пожалела, что полицаи поселили их вместе, словно нарочно преследовали корыстную цель. Вот если бы она жила со Стешей Полосухиной, тогда бы вряд ли полицаи сейчас гуляли с ними. Ведь Стеша совсем не бросакая девушка, была вдобавок очень серьёзная. Хотя Нина тоже не считала себя записной красавицей. Она действительно о себе была почему-то столь высокого мнения, хотя знала, что природа умудрилась, при её скромных физических данных, наделить выразительным лицом...

Но Анфиса отличалась от неё всеми качествами непростой девушки: и выученной, натренированной манерой говорить, и круглым, симпатичным лицом, и раскованным характером, умевшей владеть собой в любой обстановке. И, где бы ни появлялась, она сразу приковывала к себе внимание парней, но далеко не каждый отваживался заговорить с ней. Нине тоже в общении с подругой приходилось напрягать ум, чтобы выглядеть в её глазах более солидной, грамотной и культурной. Со Стешей, конечно, всё обстояло значительно проще из-за одного того, что она никого из себя не строила, – говорила почти необдуманно, и в её речах подчас немало проскальзывало глупостей, отражавшихся тогда и на поведении, чего порой она не сознавала. Анфиса же старалась быть во всём собранной, умной, вежливой, но почему-то избегавшая обычных девичьих посиделок, особенно в тех случаях, когда обсуждались чьи-то отношения, чья-то дружба с парнем, к каким была падка Маша Дмитрукова, кажется, больше кого бы то ни было. Но в них Нина тоже не участвовала, сторонилась, и не в её характере было сплетничать и высмеивать кого-либо. В этом она сходилась во мнении с Анфисой, и кажется, их что-то объединяло, в чём она убеждалась, живя с Анфисой на квартире. Правда, Нина страдала от одного того, что она безнадёжно уступала Анфисе своими непритязательными нарядами. И у неё пока не было ни одного шёлкового или шерстяного платья, в то время как Анфиса могла щеголять и шёлковыми, и крепдешиновыми, и шерстяными, и льняными, сшитыми вдобавок с притязаниями на модный фасон. У Нины было больше суконных или шерстяных юбок и кофточек, и блузок, не считая обычных, штапельных или сатиновых платьев. С собой она взяла только пару юбок, кофточек и прочих женских вещей. У Анфисы была одна юбка, наряд-

ная блузка и шерстяные платья. На работу они надевали, естественно, что похуже, а сейчас перед полициями Анфиса вырядилась как на праздник. Волосы она давно отрезала, сделала завивку, от которой со временем осталась одна видимость. Но все равно смотрелась по-взрослому. А Нина продолжала заплетать косу, делавшую её девочкой-подростком.

– Ничего, пить мы тебя научим. Вот так, – начал Иннокентий Корнеевич, налив стаканчик себе и брату. – Давай, Фео, ещё пропустим по стопарику, – и он поднял стопку, поднёс к губам, велел Нине смотреть, как он будет глотать первач. Полицей одним махом выдул, даже ни капли не скривившись; зато стал грызть огурец, да так смачно, будто никогда не ел солёного. Его брат последовал его примеру. Анфиса вилочкой аккуратно накалывала картошку и в рот не спеша, её полные круглые щёки рдели, как арбузная мякоть. Она улыбалась, поглядывая странно на Кешу.

– Давай, рубай! – воскликнул Кеша, толкая под локоть Нину. – Смотри, твоя товарка молотит – дай боже. Глотай горилку и лопай. Сколько потянешь, лапуня, а то как монашка на именинах...

– Чего, радость моя, раньше пить батька с маткой не давали? – баском спросил Феоктист. – А теперь можно, к тому же Рождество Христово – грех не выпить, – снисходительно прибавил тот.

– А вы и в Бога веруете? – спросила Анфиса наигранным тоном, полным иронии; она полицаев не боялась и нисколько их не осуждала, не презирала, не ненавидела, что служили немцам, сбежав с фронта. Кто как умел, так и приспособливался к сложившимся обстоятельствам в условиях оккупации. Но настанет время и они предстанут перед божеским судом, которого вряд ли кто минует – это она слыхала ещё от деда, да и мать читала вслух Библию...

– Все ходим под ним, что-то есть в мире такое, что неизбежно давит на судьбу... – проговорил со степенной задумчивостью Феоктист. – А ты на што намекаешь? – вдруг спросила он, уставясь сурово на девушку.

– Просто спросила – весь намёк в моем вопросе! – тихо ответила Анфиса.

– Небось, мысль подвернулась, что мы уподобились Иуде, предали интересы державы? – спросил манерно Кеша, яростно глядя на Анфису. – Откель тебе знать, что большевики не сыграли на чувствах народа, что они не предали народ, что они его не обокрали и его же кровью умыли? Это тебе известно? И я должен защищать такую власть? Кто как не большевики расстреляли царя и всю его семью. А нашего отца?

– Хорош тебе распинаться! – прервал Феоктист. – Им, думаешь, это надо знать, что они понимают в жизни – мокрощелки – вот их стихия, да, девки? Дальше носу вам совать вредно!

– Нет, дорогие мужчины, не знаю, как Нина, а я кое-что смыслю!.. Нечего хамить, унижать нас! – твёрдо ответила Анфиса. – Мой отец погиб от рук большевиков, я тоже не пылаю любовью к советской власти, достаточно знать, что всякая власть от бога и судить её ему.

– Слыхал, Кеша! Анфиска – жертва советов. Мать их так! Батя твой у кого служил? – спросил Феоктист.

– У белых! – смело отрезала она. Если бы не выпитая самогонка, она бы вряд ли призналась.

– А твой батя за кого? – спросил быстро Кеша у Нины так, словно об этом спохватился узнать слишком поздно.

– За красных, ну и что? А сейчас он работает в шахте... в Сибири. Но моего дядю посадили в коллективизацию, хотя воевал за красных, и в лагере пропал без вести...

– Дядя-то брат отца?

– Нет, мамкин, мы тогда жили в Калужской губернии. Сюда приехали по вербовке, когда был голод.

– А что же батя воевал за красных, сам или принудили? – спросил Кеша.

– Не знаю, тогда все воевали... – уклончиво ответила Нина.

– Это верно, только за разные интересы, – сказал Феоктист. – Но мы тебя, красотка, не судим, как говорил ирод народов, дочь за отца не отвечает, и с тебя его грехи списываются...

– А перед кем он виноват? – наивно спросила Нина, теребя свою косу, перекинутую через плечо.

– На том суде разберутся, подсказывает Анфиса, так, да? – злорадно усмехнулся Кеша. – А я знаю, что ты богом стращаешь не зря. – Злорадно, прищуривая глаза, протянул раздумчиво, с тайным значением полицай и продолжал: – Это мы ещё посмотрим, на чьей стороне правда; служа в полициях, мы боремся с большевизмом, нам, думаешь, нравится, что немцы захватили державу, а пока другого выхода нет. Вот покончим с большевиками и немцев турнем под освободительным российским знаменем!

– Да я о вас и не думала, а сейчас удивлена, узнав, что есть такие люди, способные пойти против власти. А если не удастся победить, ведь под Москвой разбиты их лучшие дивизии?

– Ты откуда это узнала, нешто с подпольщиками связана, а? – спросил Кеша.

– Все так говорят – слухами земля полнится, да от вас люди и узнали. Хозяйка нам первая сказала...

Полицаи заметно смутились, как-то свирепо и значительно переглянулись. Кеша снова наполнил стопки и повернулся к Нине, глядя жёстко:

– Глотай всю, ишь отродье красное, о чём тишком думает. Не пройдёт! – он вскинул руку и обрушил её на стол, вызвав тем самым взволнованный звон посуды. Нина от испуга взяла стопку, посмотрев на Анфису, как та примеривалась, чтобы опорожнить в себя стопку. И сама не заметила как выпила, полыхнув мимо всех обезумевшим взглядом.

В это время в сенях послышалась немецкая речь. Дверь оказалась не запертой, хозяйка бросила её так, а сама ходила по двору. Было темно, потом услышала голоса на улице, и лучи фонаря полоснули по забору. Вошли двое автоматчиков и с ними офицер. Фелицата Антоновна было схоронилась за угол хаты, но яркий, какой-то сияющий свет фонаря в руках у немца осветил её; она беспомощно закрылась руками, чувствуя как страх сжимает сердце, перехватывает дыхание. Немецкие солдаты по команде офицера осмотрели весь двор, баз, сараи, курник. Офицер допытывался: что она тут делает или ночью кого-то прятала? Баба в страхе быстро замотала головой, как немая, указывая и рукой на хату, и безумными от страха глазами.

Офицер осветил дверь, вошёл в сени и включил карманный электрофонарик. В горницу вступили немцы, Полицаи суетливо встали из-за стола, неуклюже поправляя на рукавах чёрных кителей белые повязки.

– О, какой девушка! – воскликнул офицер. А солдаты пошли шнырять по горницам. – Ви полицай? – спросил он у Кеши. – Штейн, а дёкумент сюда, шнель! – Кеша и Феоктист достали из боковых карманов пиджаков удостоверения. Офицер склонился над керосиновой лампой. А потом быстро поднял голову, воззрившись на полицаяев: – Пошли вон, собаки! – отрезал офицер, ретиво указывая на дверь. Тут вмещалась хозяйка – и к полицаям.

– Ой, ребята, да я ни при чём! – плаксиво вырвалось у неё, боясь, что полицайи подумают, будто это она пожаловалась на них. Офицер, обернувшись, накричал на неё, а полицайи в суматошной спешке, хватали свои пожитки, карабины и вымётывались прочь без оглядки.

Девушки встали из-за стола. Офицер внимательно осматривал их, затем потребовал предъявить документы, выданные им в немецкой комендатуре по прибытию в хутор. У Нины и Анфисы были справки, свидетельствовавшие, что они служат на аэродроме. Офицер терпеливо ждал пока они отлучались в свою горницу...

Прочитав после их бумажки, он козырнул, посмотрел на перепуганную хозяйку, и, скормандовав что-то жестом, относящимся к солдатам, пошёл из хаты...

Глава 22

Утром девушки собирались возле немецкой комендатуры. Здесь же толкались полицаи: они курили, смотрели на невольниц, плотоядно и хищно улыбаясь им. Братья Свербилины появились чуть позже всех, они были довольно хмуры и неприветливы. Зашли в комендатуру, потом подогнали фургон, и затем в него грубо, как скот, прикладами карабинов затолкали девушек.

До этих пор их гоняли на аэродром через луга, и вот вдруг посадили всех в машину. «С чего бы это»? – зароптали девушки, неужто повезут в Германию? Однако кто-то сказал, что без вещей не угонят. Тут что-то другое, а потом влезли и сами полицаи и два немецких автоматчика.

Нина и Анфиса старались не смотреть на полицаев, которые из-за вчерашней неудачи сидели напыщенные, как сычи. Курили немецкие папиросы. Иногда они взглядывали на девушек и опускали глаза. Раньше их конвоировали одни полицаи, а теперь вот и солдаты примазались. Им не положено заговаривать с подневольными. И сами девушки тоже молчали. На работе боялись общаться между собой – за этим строго следили часовые и надзиратели. А на самом аэродроме девушек обыскивали женщины в немецкой форме, говорившие на вражеском языке...

В последнюю неделю декабря мороз немного ослаб. Но от ветра, дувшего с востока, было всё равно также холодно. Небо затянулось плотной серой пеленой и снег тоже казался серым и чернел крапинками брызг от горячего и копоты выхлопных труб вдоль накатанной техникой дороги, по которой туда и обратно шли лобастые, пятнистые, припорошенные снегом грузовики и фуруны. Однажды девушки увидели военнопленных, шедших под усиленным конвоем с собаками, которые свирепо лаяли на пленных солдат. Зачем-то невольниц повезли мимо них окружным путём, это сразу наводило на тревожные мысли. Фургон въехал на каменный мост через реку Тузлов, а в трёхстах метрах по железнодорожному мосту прошёл немецкий эшелон с военной техникой, затянутой брезентом с зенитными установками, которые стояли и по обе стороны моста; от паровоза валил чёрный дым.

...Девушек привезли на станцию, где велели им выгрузиться, построиться и ждать дальнейшей команды. Они ловили взглядами полицаев, стоявших тут же, прикуривавших папиросы. Хотели у них узнать, что всё это значит, но те будто нарочно их не замечали. Правда, иногда отстранённо взирали, затем лениво смотрели на платформу, по которой прохаживались попарно часовые. На сторожевых вышках торчали стволы крупнокалиберных пулемётов и смотрели в бинокли солдаты. Наконец вдали послышался характерный шум и шипение паровоза, издававшего короткие оповестительные гудки. Затем показались наши столыпинские вагоны. Поезд как-то резко замедлял ход, пока совсем не остановился, выпуская тучи иссеробелого пара.

Открывались вагонные двери, ходившие на роликах, из вагонов выпрыгивали немецкие солдаты. Затем открылись склады, откуда девушки стали выносить мешки с мукой. Разумеется, ни одна сама не донесла бы тяжёлый, многопудовый мешок до вагона, где их принимали наши военнопленные и укладывали штабелями на солому. Этой погрузкой занимались весь день в основном девушки и женщины. И так умаялись, что к вечеру еле ноги тащили, полицаи нервно покрикивали, подгоняли, мол, нечего симулировать и тянуть зря время...

Когда невольниц строем вели в столовую, Нина увидела там Арину Горобцову, которую, если бы она не узнала, то вряд ли когда они ещё могли встретиться. Арина была весьма рослая, худая, с большими голубыми глазами, с прямым, чуть приплюснутым носом. Встреча их произошла как раз у окна раздачи пищи. Нина долго смотрела на неё, боясь подойти к Арине, но та её тоже заметила. Наконец Нина подошла и спросила:

– Ты Арина Горобцова?

– Да, а в чём дело? – удивлённо спросила девушка.

– Мы с тобой вместе росли, учились в школе, а потом вы уехали из степи, теперь вспомнила? – взволнованно, со слезами на глазах, ответила Нина. – У нас и родина одна, Калужская...

– Зябликова, боже мой, а я смотрю: знакомое лицо, а вспомнить не могу, где я тебя видела? Как же вы там жили? – Арина смущённо улыбалась, обняла Нину с повлажневшими глазами, любовно смотрела на бывшую подругу и землячку и качала головой, всё ещё не веря глазам, какой взрослой, красивой стала Нина.

– Жили как все – трудно, конечно: я недоучилась, в колхозе гнула спину почти с пятнадцати лет, а летом, когда ещё училась в школе, выходила с матерью в огородную бригаду на прополку, потом сама на телятнике, свиарнике. Ну, а ты как – выучилась?

– Да с горем пополам, мы тоже скитались и по квартирам, и по общежитиям, а потом с матерью остались вдвоём – отца через три года арестовали, и больше мы его не видели...

– Какая беда! – протянула Нина, покачав печально головой, сочувствуя всем сердцем подруге. – А мой батя в Сибири на шахте – трудовой фронт, а меня послали с нашими девчатами сюда. Хорошо хоть сюда, а не в немчурию. И ты, значит, тоже здесь... на них?

Арина поджала скорбно губу, собрала у переносицы брови, качала усердно головой.

– Я в техникуме училась, но закончить его война не дала. Видела раза два Клаву Пинину, ты же её помнишь – деда у неё арестовали. Муж в тюрьму попал за кражу или ограбление. Вот такие дела, а мать после отца заболела, не знаю, как она там? На заводе работала на станке по три смены кряду...

Тут подруг разняла женщина-полицайка, усмотрев в их оживлённой беседе нечто подозрительное, угрожающее немецкому порядку...

– Хотите в тюрьме посидеть? – сказала одна строгим тоном. – Быстро отседова, марш! – и она толкала Арину в спину, а Нину – другой рукой.

Потом невольниц вновь привезли на станцию, где Нина ещё раз увидела Арину, правда издали, которая было хотела помахать ей, но вспомнила – нельзя, ведь немцы сочтут, будто она кому-то сигналист, чем запросто могла поплатиться головой.

Вражеские автоматчики стояли с обеих сторон товарного поезда – почти через каждые три метра; надрывались в остервенелом лае служебные овчарки, где-то протяжно свистел паровоз, пахло перегоревшим каменным углём. Снегу на станции почти не было, на одном из путей свободным от поездов лежали искорёженные вагоны-платформы – последствия недавней диверсии подпольщиков...

Девушки по двое таскали мешки в вагон по сходням, все испачканные мукой. Им теперь было известно, что эту муку отправляют в Германию. В другие вагоны военнопленные вносили ящики, заводили лошадей, вкатывали металлические и деревянные бочки...

Перед самым вечером вдруг завывла сирена, где-то бухали зенитки, строчили крупнокалиберные пулемёты; в небе ревели самолёты, раздавались сильные взрывы. На одном из путей вагон подбросило сильной взрывной волной, он перевернулся и тут же вспыхнул. Горели также цистерны, некоторые взрывались, поднимая в небо тучи копоти, и развевались, разлетаясь во все стороны, ошмётки пламени. Но рёв самолётов уже удалялся, уменьшался, и вскоре совсем всё разом стихло: установилась неправдоподобная тишина. Девушек вывели из укрытия, и они продолжали погрузку. Через два часа этот кошмар для них закончился. Затем их посадили в фургон и повезли в хутор. Голодные, холодные, когда городские улицы погрузились в непроглядную тьму, они впервые почувствовали, что такое война с её жестоким, звериным оскалом; трудно было смириться с тем, что немцы вывозили продовольствие, промышленные товары, отобранное у народа имущество, что нестерпимо больно задевало национальное самосознание. Словом, немцы цинично, нагло, на правах оккупантов грабили страну, пользуясь её

временной слабостью. Было обидно до слёз, что даже налёт нашей авиации немцы отбили, отделавшись от него, как от комариного укуса.

...От комендатуры, где они отмечались каждый вечер, расходились по квартирам с такой неохотой, так как там их поджидала опасность насилия от полицаев. Они с тоской мечтали о доме, думали о родных, которые, казалось, отвернулись от них, как от прокажённых, что им будто было всё равно, на кого они работали. А тут валила с ног усталость настолько, что даже не думали о еде, скорее бы добраться до кровати.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.